

АЛЕКСАНДР ГУТИН

18+

Я НЕ УМЕЮ ПЛАКАТЬ

Более 45 000 подписчиков на Фейсбук



Одобрено Рунетом

Александр Гутин
Я не умею плакать

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Гутин А.

Я не умею плакать / А. Гутин — «Издательство АСТ»,
2019 — (Одобрено Рунетом)

О советском времени, о людях, о еврейских городках, о войне, даже о том, что чувствует стекло от бутылки... Истории Гутина разные, но их объединяют проникновенность и яркость. Это смешно, это страшно, это вызывает желание прочитать еще. Александр Гутин – известный российский поэт, публицист, писатель, сценарист и актер. Его творческие вечера собирают аншлаги в Израиле и в США, в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Минске, Одессе, Алма-Ате и других городах. Аудитория на Фейсбук превышает 45 000 подписчиков.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

© Гутин А., 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Часть 1	6
Нервы	6
Дядя Эмик	8
Краковская колбаса	11
Бруки	13
Никуда не ехать	15
Бейгеле	18
Проруха	20
Эмма Леопольдовна	22
Березовый сок	23
Меня всегда любили	24
Все к лучшему	26
Плохое воспитание	29
Полчаса до закрытия гастронома	31
Скрипка Якубовича	33
Цыпа	35
Часть 2	37
Свингеры	37
Мерзавец	41
Евангелие от Иуды	43
Наденька и Шаповалов	46
Егор Ильич Аполлинер	47
Прапорщик Чугунов	49
Колдыб-нога	50
Лампочка	52
Часть 3	53
Осколок	53
Гипсовый пионер	56
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Александр Гутин

Я не умею плакать

© А. Гутин, текст, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

* * *

Часть 1

Городок

Нервы

Лева трепал нервы своей маме. Это ж невозможно так жить и спокойно умереть! Это ж кому рассказать, так надо молчать и делать вид, что такое не с вами!

Мама Левы, Блюма Исааковна, женщина почтенных лет и безупречной репутации, которую не может подмочить даже Зина Хаскина, чтоб у нее кадухес вылез на всю голову с ее длинным языком! Это же надо было дожить до таких лет, чтобы собственный родной сын, которого Блюма Исааковна всю жизнь любила больше жизни, который по утрам кушал такие оладушки, что боже ж мой!

Когда Лева устроился в ателье «Силуэт» на улице Октябрьская, Блюма Исааковна очень обрадовалась. Мальчик закончил техникум, и ему надо было где-то работать. Ну, так Лева и работал. Сначала закройщиком, а потом стал так шить брюки, что весь город ничего не хотел слышать, кроме как заказать их прямо у Левы.

Директор ателье Шиманович выписал ему премию, на которую мальчик купил маме брошь с профилем античной богини.

Блюма Исааковна заплакала от счастья. Ей никто никогда не дарил брошь, тем более с античной богиней. Когда-то муж Блюмы Исааковны, который Левин папа, пусть будет благословенна его память, подарил ей кольцо из серебра, с которым они женились, потому что жениться без кольца было бы стыдно перед людьми.

А потом муж Блюмы Исааковны, который Левин папа, взял и умер от прободной язвы, оставив безутешную вдову и маленького Леву, который тогда ничего не понимал, а лежал в кровати, пускал пузыри и учился пукать.

А потом Лева вырос, закончил техникум, поступил на работу в ателье «Силуэт» на улице Октябрьская, стал мастером по пошиву брюк, получил премию и купил маме брошь с античной богиней! Это же вундеркинд, а не ребенок!

И все было бы хорошо, но Лева стал трепать нервы своей маме.

– Лева, ты хочешь, чтобы я умерла и больше не жила, тебе больше не нужна такая мама, ты шмекеле, Лева! Потому что только шмекеле может делать маме нервы, чтобы мама болела и пила импортные лекарства от сердца!

– Ай, мама, я думаю, что вы преувеличиваете! Что плохого в том, что я беру немножко заказов на дому, и от этого у вас на столе всегда есть курочка и даже свежая рыба? Сегодня все хотят хорошо одеваться! Так что ужасного в том, что я помогаю людям красиво выглядеть?

– Лева, ты треплешь мне нервы, Лева! Послушай свою старую маму, потому что я уже немножко пожила жизнь, чтобы знать, что говорить! В этой стране, Лева, помогать людям красиво выглядеть можно только на работе в ателье «Силуэт». И если ты будешь помогать им хорошо выглядеть на дому за рубли, не учтенные в кассе, то ты рано или поздно начнешь очень плохо выглядеть! Ты будешь так плохо выглядеть, что сам не знаешь как! В кутузке, Лева, люди выглядят не так, как хотят, а так, как могут. А еще там плохо кормят, а у тебя гастрит, Лева! Ты понимаешь, что если за тобой придут, то я умру и больше не оживу никогда?

– Мама, но почему вы думаете, что за мной обязательно придут? Возьмите Юдика Элькина! Так кто не знает, что он делает фотографии для свадеб совсем не просто так и без кассового чека? У вас, мама, просто устаревший взгляд на вещи! На вещи надо смотреть по-новому.

– У Юдика Элькина зять работает в прокуратуре, Лева! А когда у тебя зять работает в прокуратуре, то ты можешь фотографировать хоть самого Леонида Ильича вместе с его орденами, и тебе ничего не будет, кроме почетной грамоты! И запомни, айдеше поц, новые вещи – это такие же старые вещи, только по другой статье Уголовного кодекса, и не факт, что эта новая статья будет лучше старой!

Одним словом, Лева трепал нервы своей маме. Каждый вечер Блюма Исааковна ложилась спать, напившись корвалола, и долго слушала, как в комнате сына строчила швейная машинка.

А потом к Леве пришли. На пороге стоял милицейский капитан и строго смотрел на Блюму Исааковну:

– Шуйт Лев Соломонович здесь проживает?

– Кто? – спросила Блюма Исааковна, и во рту у нее мгновенно пересохло.

– Шуйт Лев Соломонович, – повторил милиционер.

– А что такое? – Блюме Исааковне потемнело в глазах.

– Дама, а вам, собственно, какое дело? Мне нужен Лев Соломонович Шуйт, прошу меня проводить.

Блюма Исааковна медленно опустилась на табурет.

– Товарищ милицейский работник! Я вас умоляю, не надо никуда забирать моего мальчика! Он ни в чем не виноват! Я знала, я знала, что так будет! Он больше так не будет! Я вам, как родному, обещаю! Я эту швейную машинку расквецаю и выброшу в окно, чтоб она сгорела, чтоб ее холера забрала!

– Вы, женщина, я так понимаю, его родственница? – выслушав Блюму Исааковну, спокойно спросил милиционер.

– Родственница, я его родственница, я его родственница по материнской линии, товарищ милиционер! Я его непосредственно мама, которая растила этого шлимазла, и радовалась этой броши с античной богиней, которую он мне подарил на выделенную государством премию, пока он не стал шить людям в неурочное время и в домашних условиях! Я сдам эту паршивую брошь в фонд мира, только, умоляю вас, товарищ самый главный милиционер, не забирайте моего сыночку!

– Так, мамаша, успокойтесь, – перебил капитан. – Во-первых, не нужна мне никакая брошь! А во-вторых, никто вашего сыночку никуда забирать не собирается! Я пришел по поводу брюк. Лев Соломонович ведь шьет брюки? Мне его очень рекомендовали солидные люди, а у меня на следующей неделе свадьба. Понимаю, что времени немного осталось, но за срочность я заплачу, вы не беспокойтесь! И потом, какой же я главный милиционер? Спасибо, конечно, но не такой уж я и главный, знаете ли, и поглавнее есть.

Лева трепал нервы своей маме. Это же невозможно так жить и спокойно умереть! Он сшил брюки милицейскому капитану и даже не взял денег за срочность. Капитан женился и, говорят, в новых брюках выглядел лучше, чем английский лорд на приеме у королевы.

А Лева продолжает трепать нервы своей маме Блюме Исааковне, которая уже ничего ему и не говорит, только укоризненно качает головой и тяжело вздыхает, когда к Леве приходит очередной клиент, чтобы сшить самые красивые брюки у лучшего брючного мастера в городе. А что поделаться? Люди всегда хотят выглядеть красиво, и никто им в этом не помешает, даже Блюма Исааковна, мама, которой сын продолжает трепать нервы.

Дядя Эмик

Дядя Эмик считался позором семьи. В то время, когда мой папа, его двоюродный брат, старался выполнить пятилетку в три года, когда вся наша страна семимильными шагами шла к победе коммунизма, дядя Эмик имел наглость демонстративно хорошо жить.

Он разъезжал по городу на новенькой «Волге» цвета «белая ночь», носил импортные джинсы и курил сигареты «Мальборо».

Когда-то дядя Эмик отсидел несколько лет за то, что купил доллары. Или продал. Я точно не знаю, я был маленький. С тех пор его стеснялись, как асоциального элемента, да еще и смеющегося жить роскошнее, чем положено советскому гражданину.

О нем в нашей семье практически не говорили. А если и говорили, то вполголоса и с таким видом, как будто рассказывают о какой-то нехорошей, но неизбежной болезни.

Тем ни менее периодически кто-то из родственников к нему обращался.

Он приходил к дяде Эмику под покровом ночи так, чтоб никто не видел. Но все об этом все равно знали, но делали вид, что забыли.

– Эмик, ты же знаешь моего Мишу? Мальчик поступает в медицинский и очень волнуется.

– Миша поступит в медицинский, передайте ему, чтоб не волновался, – улыбался дядя Эмик в тонкие пижонские усики.

– Эмик, Фирочка родила второго ребенка, а очередь на квартиру только в следующем году...

– Ой, я вас умоляю, передайте Фирочке мои поздравления, и что очередь на ее квартиру уже в июле...

– Эмик, ты же был у меня дома, ты видел этот сервант! Это же стыдно кому показать! Говорят, в мебельном есть румынские стенки...

– В мебельном есть не только румынские стенки, но и югославские диваны, завтра приезжайте к директору и скажите, что вы от меня...

Дядя Эмик никому из родственников никогда не отказывал. Его даже забавлял тот факт, что те, кто стеснялись его днем, приходили к нему поздно вечером с просьбами.

Единственным, кто никогда не обращался к дяде Эмику, был мой отец.

– Да я скорее умру от стыда, чем пойду к этому проходимцу! Вы только посмотрите, «Волга» у него! Джинсы! Говорят, он каждую субботу ходит в ресторан! Откуда у него это все? Нет, вы задайте вопрос, откуда у него это все?! Мало он в тюрьме сидел, ох мало! Проходимец и пройдоха!

Мама кивала в ответ и, тяжело вздыхая, шла на кухню чистить картошку.

Однажды она намекнула папе на то, что была бы не против новых импортных сапог, которые привезли в универмаг, но уже через пять минут к прилавку стояла такая очередь, что купить их законным путем не представлялось возможным, но вот, если бы Эмик, он же наверняка может...

– Что?! – папа взвился в воздух от негодования. – Что ты сказала? Эмик?! И это ты, моя законная жена? Ты мне говоришь, чтобы я пошел к жулику просить для тебя сапоги?! Ты страшный человек, Клара! Боже мой! Боже мой! Я столько лет живу с тобой! Как ты можешь меня просить о таком?!

Одним словом, мой папа оставался непреклонным по отношению к дяде Эмику. И вот однажды папа заболел. Заболел он не очень хорошей болезнью. Врач Шулькин долго качал головой, рассматривая его рентген и результаты анализов, а потом написал что-то на бумажке и, протянув папе, сказал:

– Вот, Лев Борисович, хорошо бы вам достать это. Ситуация не очень хорошая, буду откровенен. Есть, конечно, и другие лекарства, но увы... Если мы хотим с вами разговаривать об излечении, а не оттягивании... хм... неизбежного, то я бы порекомендовал вам достать это лекарство.

– Что значит достать?! – спросил бледный как мел папа.

– То и значит. Лекарство импортное. Немецкое. Но не наше немецкое, а их немецкое...

– Что значит «наше»? Что значит «их»? – папа побледнел еще больше.

– Это значит, что лекарство производства ФРГ. Не ГДР.

– И где же я его найду?

– Я не знаю. В нашей советской аптеке его точно нет. Но может, кто-то сможет... подумайте.

Дома впервые за много времени мама опять заговорила про дядю Эмика. Папа опять кричал о том, что он никогда не пойдет с поклоном к бывшему валютчику, и что лучше умрет от страшной болезни, чем примет из рук афериста хоть что-нибудь.

Вечером, когда папа, нанервничавшись за день, уснул, мама надела пальто, свои старые сапоги и вышла из дома.

А на следующий день нам позвонил доктор Шулькин:

– Лев Борисович, вам несказанно повезло! Надо же! Только мы с вами пообщались, и вот, пожалуйста. В нашу поликлинику по льготам выделили некоторое количество того самого лекарства, о котором я вам говорил.

– Что значит по льготам? – папа недоверчиво вслушивался в телефонную трубку.

– Это значит, что по льготам от Минздрава. И вот, можете приехать и забрать. Бесплатно! Как передовик и ветеран труда.

Папа стоял перед зеркалом, завязывал галстук и сиял:

– Видишь, Клара! Уважают! Думает страна о тех, кто верой и правдой! А? Каково?! Из самого Минздрава по льготам прислали! А ты говоришь: Эмик! Не для того мы строим коммунизм, чтобы ждать помощи от всякого рода жуликов! Наша партия и без них думает о простых тружениках! И чтоб при мне ты про этого Эмика даже не заикалась!

– Хорошо, хорошо, – сказала мама из кухни. – Кстати, я тебе не сказала? Вчера чисто случайно все-таки сумела купить себе сапоги! Прямо повезло. Четвертой в очереди была! Удивительное везение.

Через месяц папа пошел на поправку, а мама не могла нарадоваться его чудесному выздоровлению и своим новым сапогам.

Наступил май, до каникул оставалось совсем ничего. Я шел со школы, за моей спиной висел ранец, в руках болталась сумка со сменной обувью.

– Здравствуй, мой юный родственник! – неожиданно услышал я знакомый голос.

У обочины притормозила «Волга» дяди Эмика, а сам он выглядывал в раскрытое окно, дымя сигаретой. Наверное, «Мальборо».

– Здравствуйте, дядя Эмик! – поприветствовал его я. В отличие от папы, я не испытывал к нему неприязни, скорее даже наоборот.

– Как здоровье папы?

– Все в порядке, уже лучше!

– Ну и хорошо. Лови! – дядя Эмик что-то бросил мне.

Я поймал. Это была жвачка. Настоящая жвачка.

– Жуй, не кашляй! – подмигнул мне дядя Эмик. – Маме привет! Передай ей, что на следующей неделе будут чешские туфли, которые совершенно случайно можно приобрести в универмаге. Только так, чтоб папа не слышал, не отвлекай его от строительства светлого будущего...

– Хорошо. Спасибо, дядя Эмик.

Дядя Эмик улыбнулся и уехал.

Краковская колбаса

Гриша Перцман очень боялся Уголовного кодекса. Ложась в супружескую постель, он несколько минут смотрел в потолок, а потом обреченно говорил:

– Элла, я все решил.

– И что ты решил? – зевая, спрашивала жена Гриши Элла Самуиловна.

– Я все решил, Элла, – еще более обреченно говорил Гриша и тяжело вздыхал.

– Ну, решил так решил, – отвечала Элла Самуиловна.

– Ты жестокая женщина, Элла, тебе что, неинтересно, что я решил?

– Мне очень интересно, что ты решил, Гриша. Мне так интересно, что я даже знаю, что именно ты решил! Ты опять увольняешься с работы, Гриша.

– Да! Да, я увольняюсь! Но как я могу работать на текстильном складе, Элла? Ты что, хочешь, чтобы однажды я украл отрез шерсти первого сорта и меня посадили в тюрьму?! Я твой муж, Элла! Ты хочешь, чтобы я сидел?!

– Но почему ты должен обязательно украсть эту шерсть первого сорта, Гриша? Ты ведь спокойно можешь ничего не красть, тем более тебя об этом никто не просит!

– Но ведь там все крадут! Даже начальник склада Шефтелевич! Особенно начальник склада Шефтелевич! Ты понимаешь, что я не смогу долго оставаться в стороне? Ты жестокая женщина, Элла!

– Но почему ты думаешь, что тебя обязательно посадят? Вашего Шефтелевича никто не садит и не собирается, так почему кто-то должен садить тебя?

– Потому что меня посадят. Шефтелевича не посадят, а меня обязательно! Вспомни, в прошлом году в Гаграх единственный человек, кто едва не утонул в радоновых ваннах, это был я. А электрофорез? Ты слышала, чтобы когда-нибудь кого-нибудь ударило током на электрофорезе? Ты никогда, Элла, не слышала, чтобы кого-нибудь ударило током на электрофорезе! А меня ударило! Ударило, Элла!

– Ай, делай, что хочешь, только дай мне поспать! – отвечала Элла Самуиловна и отворачивалась к стенке.

А Гриша Перцман еще долго не мог уснуть, тревожно вглядываясь в потолок над кроватью.

Наутро Гриша уволился со склада и поступил в диспетчеры трамвайного депо. Но и оттуда он уволился довольно быстро, в страхе, что украдет какую-нибудь трамвайную деталь, и его обязательно поймут на проходной.

Потом он работал в клубе фабрики имени товарища Орджоникидзе, но и там не смог укрепиться, боясь попасться на краже баяна или скипидара, которым натирали клубный паркет.

Потом он работал на картонной фабрике, в продовольственном тресте, управлении службы быта, но нигде не оставался более месяца, боясь Уголовного кодекса.

И вот, когда он поступил на колбасный завод, то в первый же день не выдержал.

Домой он пришел белый, как стена, в предобморочном состоянии. Зайдя в квартиру, Гриша Перцман закрыл дверь на два замка и накинул цепочку, потом тяжело опустился на табурет и попросил у жены пить:

– Элла, все! Элла, это все!

– Что случилось, Гриша! Ты опять боишься что-то украсть? Так ты вчера уже боялся! И позавчера тоже боялся! Но не переживай, ты так ничего и не украл. У всех мужья люди как люди, а у меня шлемазл и больной на голову человек!

– Элла, ты бессердечный человек! Это все, Элла! Я украл колбасу! – выпалил он и залпом выпил целый стакан воды.

– Что значит – ты украл колбасу? – недоумевала Элла Самуиловна.

– Это то и значит! Это то и значит, Элла! Я не смог! Я украл государственную колбасу, и за мной скоро придут! – с этими словами Гриша Перцман вынул из внутреннего кармана половину кольца краковской.

– Гриша, может я ничего не понимаю в кражах, но если ты уж встал на этот скользкий путь бандитизма, то почему только половина? – продолжала удивляться жена.

– Не говори этих слов! Я не бандит! Я просто не стерпел! Там все берут колбасу, и я не стерпел! Ты понятия не имеешь, через что я прошел! Я прошел через проходную с охраной! Охраной, Элла! Меня могли арестовать и даже расстрелять! А половину потому, что я пытался скрыть улики и съесть эту проклятую колбасу!

– Гриша, тебя никто не расстреляет, – спокойно сказала Элла Самуиловна. – Если ты когда-нибудь и умрешь, то от инфаркта, который получишь, думая, что ты кому-то нужен. Поц! Ты даже доешь эти улики не смог! Ты понимаешь, что если тебя и арестуют, то все милиционеры умрут от смеха, когда будут тебя допрашивать! Ты понимаешь, что таких, как ты, в тюрьму никогда не садят, потому что люди специально будут убивать, грабить и уклоняться от службы в Советской армии, чтобы сесть с тобой в одной камере и всегда иметь хорошее настроение, наблюдая за тобой и аплодируя, как акробату в цирке?

– Элла, ты жестокий человек, Элла! Что мне делать? Что мне делать, Элла? Я больше не могу уничтожать эти улики, у меня полный живот этой колбасы!

– Дай сюда, шмок! – Элла Самуиловна выхватила остатки краковской из рук Гриши Перцмана и крикнула в коридор коммуналки:

– Зина! Зина, иди сюда! Тут Гриша купил краковскую, но мы больше не хотим! У нас от ней несварение желудка! У нас от ней колики и понос! Зина, так ты берешь колбасу, или мне выбросить?

– Как это выбросить? – в дверь заглянула соседка Зина Хаскина. – Кто же выбрасывает новую колбасу? Я не знаю, есть ли у вас родственник, который Ротшильд, но вы таки зажрались! Выкинуть колбасу! Да как у вас рот за такое повернуться может, чтоб сказать!

Зина Хаскина забрала колбасу и вышла.

– Элла, – после паузы прошептал Гриша Перцман.

– Что еще? Ты решил меня окончательно доконать?

– Меня теперь не посадят?

– К сожалению, нет.

– Ты жестокая женщина, Элла, ты жестокая женщина.

Бруки

Давид Израилевич был портным. Не простым портным, а брючным. Брюки он называл исключительно бруками.

– Видишь ли, деточка, бруки – это совершенно не то, что вы думаете. Вы же, чтоб мне были здоровы, думаете, что то, что вы натягиваете на свой тухес, не имеет никакого значения, главное, чтобы этот самый тухес не был виден, можно подумать, кому-то до него есть дело. На самом деле бруки скажет о вас и о вашем тухесе, который вы так стараетесь скрыть, намного больше, чем вы думаете. Бруки – это искусство. Вы, конечно, можете спорить со старым Давидом, кричать, что я говорю за сущую ерунду, но я буду смеяться вам в лицо, что бы вы себе там ни думали!

– Давид Израилевич, а пиджак? Пиджак разве не имеет значения?

– Имеет, деточка. Пинжак имеет огромное значение. Но бруки имеют этого значения гораздо больше! Вы же знаете нашего секретаря парткома Афонькина? Когда он пришел ко мне в штанах фабрики «Большевичка», а это были именно штаны, а не бруки, потому что то, что на нем было надето, имело право называться только штанами, я думал, что это не секретарь парткома, а какой-то запивший биндюжник! Я дико извиняюсь, но если бы на мне были такие штаны, я бы умер и никогда бы больше не ожил. А этот гоцн-поцн был жив и даже немножечко доволен. Так вот, деточка, я сшил ему бруки. Это были не бруки, а песня о буреветнике! Вы бы видели этот гульфик! Такой гульфик не носит даже английский лорд, а уж английские лорды знают за гульфиков все и еще немножко! Вы бы видели эти шлевки! А манжета? Это же была не манжета, а картина Рубенса! Я вас умоляю!

Давид Израилевич деловито вставал, протирал очки клетчатым мужским носовым платком и садился за швейную машинку. Он нажимал на педали, нить, соединяющая челнок и иглу, плавно скользила, превращаясь в идеально ровную строчку.

Давид Израилевич всю жизнь был брючным мастером. Лишь однажды он изменил своей профессии, во время войны. Было ему тогда лет двадцать пять, и его расстреляли. Вернее не только его, а вообще всех евреев городка, где он жил. Очнувшись поздним вечером, он обнаружил себя заваленным трупами, с кровоточащим плечом, но живым. Больше живых в куче трупов не было. Не выжила ни его жена Лея, ни пятилетний сын Мотя, ни родители, ни сестра Хана, ни еще пара сотен евреев.

Давид Израилевич дождался темноты, выбрался из кучи и ушел в лес.

Подобрали его партизаны. Боец из Давида Израилевича был не очень хороший, как он сам говорил, из-за физической крепости, которой ему явно недоставало. Поэтому он временно переквалифицировался с брючного мастера на универсального портного, ремонтировал одежду партизанам, помогал на кухне.

Убил человека он лишь однажды.

– Я убил Купцова, деточка. Знаете, кто это был? Так я вам скажу, кто это был. Это был главный полицай и командовал моим расстрелом. Я знал его до войны, он работал товароведом. Однажды его чуть не посадили за какую-то растрату. Наверное, он был не очень хорошим товароведом. Как оказалось, полицаем он тоже был не очень хорошим, потому что даже расстрелять нормально меня не смог. Когда в сорок третьем пришли наши, Купцов прятался в лесу за дамбой. Но мы таки его нашли. Я тогда никогда не убивал людей, деточка, а тут не знаю, что на меня нашло, сам вызвался. Меня поняли и не стали мешать. Но знаете, что я сделал? Спросите старого Давида, что он сделал, деточка?

– Что вы сделали, Давид Израилевич?

– Я его отпустил.

– Как это отпустили?

– Я сказал ему бежать, и он побежал. А я выстрелил ему в спину и попал.

– Но зачем? Зачем вы сказали ему бежать?

– Я хотел быть лучше, чем он.

– Но вы и так лучше, чем он!

– Любой человек, деточка, который стреляет в другого человека, становится убийцей. Не важно причины, главное, что он убил. Так вот я напоследок подарил ему надежду. И он умер с надеждой на спасение. Это намного приятнее, чем умирать, понимая, что обречен. Я знаю, как это, я так умирал. Но выжил. А вот мой сын Мотя нет. И жена моя тоже нет. И остальные нет. Нам не дали возможности надеяться. А Купцову я эту возможность подарил, потому что не хотел быть таким, как он. Купцов таки был не очень хорошим товароведом и полицаем, я был не очень хорошим партизаном, но кто мешает мне быть хорошим бручным мастером? Никто мне не мешает. Надежда – это очень важно, деточка, очень, можешь мне поверить, чтоб ты мне был здоров. Все, примерка закончена. Приходи послезавтра, бруки будут готовы. И это будут не бруки, а песня о буреветнике, что б ты там себе ни думал...

Никуда не ехать

– Вы только посмотрите на этот стол! Это же не стол, это шедевр из Лувра! Да вы гляньте ножек! Они же на века, этих ножек!

– Да и что мне смотреть на ваш стол? Можно подумать, я не видела таких столов. У тети Брохи точно такой, я вас умоляю, фабрика Коминтерна города Новозыбков!

– Да что вы такое говорите, Клара Моисеевна? Это же у вас совести столько, сколько у глухого грампластинок! Какой такой Коминтерна? Лувр, чистый Лувр, поверьте, я разбираюсь! Людовик Пятнадцатый кушали за таким столом так плотно, что боже ж мой! Да как у вас за такие слова совесть не болит и не сохнет?

– Беллочка, вы бы говорили за совесть! Просить такие деньги за обычный кухонный стол – это грабеж на темной улице посреди бела дня!

– Ой, ну так вы бы и сказали, Клара Моисеевна, что вы без денег, и не делали мне беременную голову, стол ей не нравится! Новозыбков! Да вы сами Новозыбков! Сказать такое за этот стол! Да он нас с вами переживет и еще чуть-чуть!

– Ша! Хватит нервов, вы же такой человек, Беллочка, что продадите трамвайному каскиру его же билетов. И сколько вы хотите за такой стол, но чтобы без сказок Гофмана?

Никто не обращал внимания на Залмана Израилевича, который в это время пил чай за тем самым столом, который пыталась продать его дочь, Беллочка, соседке Кларе Моисеевне. И правильно. Зачем им теперь этот стол, если они все собрались ехать? Любой еврей в этой стране рано или поздно собирался ехать. Сами понимаете, куда. Но одно дело собираться, а другое дело так поехать. Не у всех до этого доходит. У Беллочки дошло. И у мужа ее Гриши тоже дошло. И у детей ее, Левы и Леночки, тоже дошло, потому что у них никто и не спрашивал. Залмана Израилевича тоже никто не спрашивал. Как-то само по себе подразумевалось, потому что а как же иначе? Залман Израилевич служил приложением к семье Беллочки и Гриши Шойхат. Приложение было безобидное и бесплатное.

Залман Израилевич не возражал.

Но чем ближе был срок старта, тем меньше вещей оставалось в квартире, и тем больше Залман Израилевич задумывался. Хотя что тут думать? У него не так уж много времени на поехать, когда, если не сейчас? Слава богу, восьмой десяток.

– Папа, и что вы расселись, как в палате лордов? Идите уже в комнаты, Клара Моисеевна согласна на стол, так надо освободить мебель.

Залман Израилевич погладил крышку стола сухой рукой, взял недопитую чашку и пошаркал в комнату. Там, допив чай, он прилег на кушетку и уснул.

– Дядько Митя, вы только посмотрите, что у меня для вас есть! Вы же даже когда помрете, будете мне благодарны, чтоб вы мне были здоровы! Тьфу на вас!

– Та ни тьфукай ты! И що у тебе е? Що я тут не бачив?

– Как що? А это? А это бачили? Смотрите на эту кушетку! Это же прелесть что! Вы же на ней как атаман запорожской мишпухи, дядько Митя!

– Ни, ну кушетка хороша, але в мене вже е...

– Ай, я вас прошу! Как будто не знаете, что хорошие кушетки по рынку ногами не ходят! Если хотите знать, то Беркович уже ее хочет, эту кушетку, да я сказала, что пока дядько Митя не посмотрит, никому не продам!

– И що Беркович прямо так ие хоче?

– Ну, а как же еще? Это же не кушетка, это королевская ложа, я вам говорю, как родному, что вы, не знаете Берковича? Он плохого никогда не хочет.

– Так ти, доню, правильно мени цю кушетку показала, я беру...

– Папа, я так дико извиняюсь, но вам надо поднять свои бебехи на диван, кушетка уже не наша, чтоб вы, папа, мне никогда не болели...

– Вот так. Циля. Я таки все понимаю. Может, все и правильно, потому как сама знаешь. Люди зря не поедут. И Гольдберги поехали в прошлом году, ты же знаешь мадам Гольдберг? Ну, конечно знаешь, с зубами и шиньоном такая, из второй парикмахерской, ну. Потом Шустеры поехали. А Люсика Шустера так просто не сдвинешь, он еще тот гоцн-поцн, зазря даже нос не высморкает. Кто еще? Белоцерковские, Ланцманы, Хаскины... много кто. Вот и Беллочка с Гришей тоже за поехать хотят. И уже даже что-то делают, стол продали, кушетку, ширму, которую Песя подарила на мой юбилей.

Нет, все правильно, зачем нам это счастье там? Там есть свое счастье. А если мы это возьмем с собой, так мы же умрем от такого большого счастья. Ну, я-то ладно, но Беллочка, дети... им надо пока еще жить. Иначе зачем куда-то ехать? Хочу ли я тоже? Хочу – не хочу... Кому интересно мнение старого поца? Я только знаю, что я всегда хотел вернуться сюда, в наш городок, куда бы я ни уезжал. И в сорок первом хотел, и в сорок втором, и в сорок третьем. А в сорок четвертом, только когда меня откопали в воронке под Корсунью, вернулся. И знаешь, что я тебе скажу, Циля? Я ехал в санитарном вагоне, я не чувствовал ни одной ноги, я почти помер, Циля, но я так радовался, что я вернусь сюда, что я тебя умоляю. А ты тоже тогда уже вернулась из эвакуации, из Мордовии. И что, нам надо было куда-то ехать? Нам никуда не надо было ехать, мы тогда уже приехали, и нам было хорошо.

А потом, в пятьдесят втором, в Мордовию поехал уже я. Два года, конечно, немного, так мне еще повезло, что можете быть спокойны. Даже если я ничего и не делал, и не был никаким шпионом. Вы видели такого шпиона, которого зовут Залман Израилевич, и он всю жизнь работал счетоводом на камвольной фабрике? Циля, никто за такого шпиона не слышал, но мне сказали, что я таки он. Я не то чтобы с этим согласился, но кто меня спрашивал? Меня вообще мало кто когда за что-то спрашивал. Так зачем Беллочке спрашивать меня, хочу ли я ехать? Она думает, что хочу. Жаль, меня нельзя продать, как кушетку, я бы остался тут. Но меня никто не купит, у меня радикулит и желудок. Кому надо такое счастье?

Но знаешь что, Циля, я не то чтобы сразу, но подумал, что я не поеду. И даже не говори мне за такие глупости! Зачем мне ехать, откуда я всегда хотел вернуться и жить? И зачем мне этот их Израиль? Нет, я не против, пусть едут кому надо, и слава богу, что такое есть, пусть будут всегда здоровы и счастливы. Но ты? Как же я оставляю тебя, Циля?

Залман Израилевич тяжело поднялся со скамейки, провел ладонью по фотографии седой женщины на мраморном памятнике, улыбнулся и, повернувшись, не спеша побрел по заросшей травой тропинке старого кладбища.

Придя домой, он налил чаю и сказал суетящейся над большим серым чемоданом Беллочке:

– Ты знаешь что, Белла, я имею тебе сказать за одну вещь.

– Что? – удивленно вскинула брови Беллочка, в последнее время папа не часто разговаривал, а уж тем более хотел сказать за какую-то вещь.

– За одну вещь, – повторил Залман Израилевич.

– И что за вещь, папа? Только не надо трагедий! Можно подумать, вы не можете жить без этой ширмы! Там вам будут столько ширм, сколько захочете, папа...

– Нет, Белла, я хотел тебе сказать за другую вещь. Я хотел тебе сказать, что я не хочу ехать.

– В смысле – не хочу ехать?

– В том смысле, что ехайте, Белла, без меня. Я не поеду.

– Это как это не поеду? Да что ты говоришь, папа, ты меня хочешь убить при жизни, чтобы я умерла? Перестань говорить за такие вещи! Как это не поеду? А как же мы? Как Лева, как Леночка? Как это не поеду, папа?

Залман Израилевич сделал последний глоток чая из чашки, встал со стула и ушел в комнату. В комнате оставалось еще непроданное коричневое велюровое кресло. За дверью продолжала причитать Беллочка, но Залман Израилевич опустил в кресло и умер. Залман Израилевич решил-таки никуда не ехать.

Бейгеле

Фирочка была очень удивлена. Надо же такому случиться! Не то чтобы она была против доктора Шулькина, так очень не против доктора Шулькина, но чтобы такой видный мужчина и медицинский работник стал приходить к ней на чай и вздыхать под ее портретом, это было крайне удивительно!

Что же тут удивительного, спросите вы? Так я вам скажу, что здесь удивительного, а вы себе думайте, что хотите.

Фирочке тридцать три года, она работает буфетчицей на железнодорожной станции и имеет лишний вес.

Тридцать три года, конечно, еще не повод просить у государства пенсию, но дамы в тридцать три года в нашем городе уже давно имеют семью, детей и маленькую собачку!

А Фирочка не то чтобы отчаялась, но, присутствуя на свадьбах, даже не поднимала свой обширный, как украинские степи, зад, чтобы поймать букет невесты.

– Ай, я вас умоляю, и шо мне этот букет? Я слишком шикарная дама для этого города, чтобы местные оборванцы выстроились в очередь за таким счастьем!

Так говорила Фирочка и откусывала от заварного пирожного.

Доктор Шулькин тоже был не женат. Но мужчина в тридцать девять – это вам не дама в тридцать три. За рукой и сердцем доктора стояла такая очередь, какая не выстраивалась за румынскими сапогами, когда их однажды привезли в местный магазин.

Даже Розочка Шейнман, женщина восточных форм и томного взгляда, мечтала о докторе, как не мечтала о сервисе «Мадонна» и хрустале в своем серванте.

– Этот доктор – не доктор, а молодой Иосиф Кобзон! Это же можно умереть, какой красавец! Дайте мне этого доктора, и я создам с ним советскую семью со всеми последствиями!

Но доктор ей не давался, теряясь от напора Розочкиных форм. Завидя ее на улице, он поспешно ретировался, галопируя к автобусной остановке, делая вид, что опаздывает на остановившийся Пазик.

Однажды он даже уехал в совершенно другой район города, откуда возвращался поздно вечером под дождем. Но все же это было лучше, чем пасть от кавалерийской атаки несгибаемой Розочки Шейнман.

И вот такой человек, этот доктор и медицинский врач, отвергнувший любовь такой видной натуры с грудью шестого размера и золотой брошью, стал ухаживать за обычной вокзальной буфетчицей тридцати трех лет.

Фирочка была не просто удивлена, она была в панике.

Последний раз за ней пытался ухаживать пьяный солдат, было это лет десять назад. Солдат спрыгнул на перрон из вагона пассажирского поезда на Киев, чтобы купить сигарет.

– Здравия желаю, красавица! – весело сказал он Фирочке. – Мне пачку «Пегаса»!

Фирочка смущенно протянула ему пачку. Красавицей ее никто никогда не называл, а тут такое.

– Спасибо! – так же улыбаясь, сказал солдат, подмигнул ей и уехал в Киев.

А Фирочка осталась. Долгие года она помнила этот, как она говорила, «мимолетный роман», который и на роман-то был не похож. Но других романов у Фирочки не было.

А тут вдруг закрутилось. Доктор Шулькин приходил каждый вечер, пил чай, кушал булочки и рассказывал про редкие медицинские случаи. Особенно Фирочке запомнился случай, когда одному мужчине лечили гайморит, а оказалось, что у него обыкновенный насморк.

Доктор отчего-то громко хохотал, рассказывая об этом, хотя Фирочке казалось это не таким уж и смешным.

Но потом доктор вдруг перестал смеяться, придвинулся к Фирочке, взял ее руку и стал страстно целовать:

– Вы... Вы... Фирочка, вы такая... такая... Выходите за меня замуж!

Фирочка от удивления открыла рот, прошептала о том, что подумает, и больше ничего так и не говорила, пока влюбленный доктор не ушел в ночь.

– Папа, вы таки не поверите и будете смеяться, но этот доктор позвал меня замуж! – Фирочка села на табурет возле кровати своего папы Арона Моисеевича.

– Фира, я, конечно, могу посмеяться над этим, но почему ты думаешь, что это смешно? Слава богу, тебя кто-то хочет иметь в жены. И что ты сказала этому шлемазлу?

– Я сказала, что подумаю, потому что не знала, что говорить, папа.

– Ты сказала все правильно, женщина всегда должна подумать, хотя тут и думать нечего.

– Но почему я, папа? Он бегаёт по всему городу от этой Розочки Шейнман, а она таки такая знойная мадам, что я вас умоляю! И зачем ему нужна такая буфетчица с вокзала, как я?

– Фира, когда я был молодым, в нашем городе жил один очень богатый человек. И хоть он был и русским, как белая береза, но каждый вечер приходил в лавку моего деда, Залмана Яковлевича, пусть будет благословенна его память и дай ему бог здоровья, и покупал бейгеле. Этот человек мог купить себе трэфной икры, шампанское и осетрину. Он мог купить себе омаров, окорок и французские круассаны. Но он приходил в лавку моего деда и покупал обычный еврейский бейгеле. Понимаешь?

– Нет, – пожала плечами Фирочка.

– Что тут непонятного? Ты можешь кушать икру и другие деликатесы, но каждый вечер ты все равно приходишь туда, где тебя ждет бейгеле. В общем, мейделе моя, соглашайся за этого доктора и не делай мне беременную голову. Все, иди, спокойной ночи.

А через месяц Фирочка вышла замуж за доктора Шулькина. И каждый вечер он приходит домой, кушает свой ужин, а потом целует Фирочке ручку. А Фирочка улыбается, и ей очень хочется съесть бейгеле. Но она твердо решила похудеть и на ночь больше не ест.

Проруха

Нема Зильберман решил уйти.

– Все! – говорил Нема сам себе, смотря в потолок над кроватью, где он лежал рядом с Гуляевой. – Сегодня я все решу, потому что все! Сколько можно, если больше нельзя?

Его голова лежала на огромной груди Гуляевой, которая обнимала Нему большой рукой, на каждом пальце которой было надето золотое кольцо.

– Мой киса! – говорила Гуляева и целовала Нему в макушку.

У Гуляевой было хорошо. Тихо. Только стенные ходики раз в полчаса выпускали флегматичную кукушку, которая отсчитывала положенное.

В серванте матово блестел хрусталь, и томно Мадонна смотрела с рисунков на одноименном сервизе.

– Натали! Я сегодня же объяснюсь с супругой и все налажу! Вы только не переживайте, у вас мигрень!

– Мой киса! – томно говорила Гуляева и улыбалась очаровательными ямочками на пухлых щеках.

«Вот уж проруха!» – думал Нема Зильберман, проецируя на себя известную поговорку про старуху.

Маленький, лысоватый Нема, давно уже смирившийся с окружающей действительностью, муж Клары Иосифовны и отец Левочки и Беллочки, неожиданно влюбился без памяти.

Гуляева была восхитительная женщина, бухгалтер на предприятии, где Нема Зильберман служил счетоводом. Роман подхватил обоих и грозил больше цоресом, нежели нахесом. Но остановиться было невозможно.

– Все! – говорил Нема сам себе, смотря в потолок над кроватью. – Сегодня я все решу.

На улице была ранняя осень, листья еще не начали падать с деревьев, но уже ощущалась прохлада первых сентябрьских ветров.

У подъезда сидел Залман Абрамович Гриншпун, сосед семьи Зильберман.

– Здравствуйте, Залман Абрамович, и что ваше здоровье? – поприветствовал его Нема.

– Мое здоровье? Ай, я вас умоляю, кому интересно здоровье, когда его совсем не осталось?

– Не говорите таких слов, вы еще такой крепкий мужчина, что на вас можно пахать и выполнять пятилетку! Живите до ста двадцати!

– Что-то ты стал поздно возвращаться домой, Нема.

– Почему вы так решили? – покраснел Нема.

– Я ничего не решал, Нема, я сижу тут на скамейке каждый день, так что я все вижу. У меня может быть не так хорошо с желудком, но с памятью пока все нормально...

– А может, у меня много работы, я не понимаю, в чем вы меня подозреваете! – Нема покраснел еще больше.

– Боже упаси, Нема, в чем тебя может подозревать старый еврей, как я? Я же не из КГБ!

Помолчали. Раскрасневшийся Нема смотрел, как закат падает за печную трубу соседнего дома.

– Изя, мой троюродный брат, – вдруг заговорил Залман Абрамович, – уже давно умер, дай ему бог здоровья и долголетия. Но когда он таки был еще немножко живой, так его любили девушки и другие дамы. И знаешь почему, Нема?

– Почему его любили девушки, Залман Абрамович? – поинтересовался тот.

– Потому что он умел рассказывать майсы про то, какое небо в алмазах он сумеет им сделать, если они таки захочут пойти с ним в апартаменты. И ты знаешь, многим он таки делал беременную голову, что они соглашались. И этот обрезанный Казанова вместо идти с ними

делать красиво, тут же включал заднюю скорость и скрывался куда-то в сторону синагоги. И бедная девушка или дама стояла одна, как русская береза в поле на семи ветрах, и очень переживала за бесцельно растраченное время на этого поца.

– Но почему он их обманывал ложными надеждами?

– Ай, я тебя умоляю. Разве это надежды, это обычные подозрения, – отвечал Залман Абрамович. – А делал он так потому, что еще в юности отморозил свой поц, когда пытался покреститься в проруби.

– Но таки он был еврей?

– Таки он был еврей. Но когда человек начинает делать то, что ему не свойственно, у него отмораживается поц, и потом ему приходится придумывать всякие глупости, и самому же в них верить.

– А зачем вы мне это сейчас рассказали?

– Не знаю, Нема, просто в голову пришло. Часто задерживаться с... работы бывает вредно. Осень. Скоро станет совсем холодно, что можно себе что-нибудь отморозить...

Дома Беллочка играла на фортепиано Брамса, Левочка кидал мяч в кота, который пытался убежать на шкаф, а супруга Немы Клара Иосифовна в старом ситцевом халате что-то готовила на кухне.

Нема молча вошел и сел на табуретку.

– Я так понимаю, Нема, ты окончательно стал стахановцем! Левочке надо сделать по математике, а у меня две руки! У Беллочки завтра экзамен, а тебе все равно! Ты слышишь, что я тебе говорю, или будешь делать вид, что умер?

– Слышу, – ответил Нема. – А кто тебе сказал, что я был на работе? Может, у меня есть женщина!

– Иди мой руки! Женщина у него! Ты давно стал шутником, как Хазанов? Борщ готов! Дети, идите ужинать! Сил у меня на вас больше нет!

Нема смотрел в потолок над кроватью, где он лежал рядом с женой, и ни о чем не думал. А потом он повернулся на бок и уснул. Ему приснилось небо в алмазах и Гуляева, которая улетала ввысь, подобно птице. Видимо, навсегда.

Эмма Леопольдовна

Эмма Леопольдовна считалась немкой, хотя ее грустные масляные глаза и горбатый, как одноименный кит, нос говорили совершенно о противоположном. Да, Эмма Леопольдовна, с одной стороны, была учительницей немецкого языка, но с другой стороны – ученик шестого «В» Миша Хейфец так был ее племянником.

В общем, с одной стороны, все было запутанно, а с другой стороны, откуда взяться немцам в Калиновке после сорок третьего года, когда партизанский отряд Тимофея Гнатюка выбил их из городка?

С одной стороны, Эмма Леопольдовна хранила в себе тайну происхождения, хотя с другой стороны, все видели, как она в Песах хрустит мацой в учительской.

Но и это ничего не доказывает, потому что мацой в Калиновке хрустят даже участковые и продавщицы бакалеи, а уж мацу с салом кто только не любит, даже Эмма Леопольдовна.

Эмма Леопольдовна была дважды замужем. Впервые за председателем профсоюза, а второй раз за врачом-урологом. Ну, если с происхождением врача все, казалось бы, понятно, особенно учитывая его очки и отчество Самуилович, то с председателем профсоюза не все так однозначно, так как Самуиловичей, ровно как и Моисеевичей на такую должность, сами понимаете, не поставят.

Эмма Леопольдовна уходила от мужей тоже дважды и всегда сама. Первый раз после того, как пьяный председатель профсоюза случайно ущипнул ее за обширную ягодицу, Эмма Леопольдовна уничижительно посмотрела на него и со словами: «Я тебе не девка!» – выбросила несчастного председателя с веранды в весеннюю траву.

Второй раз она выставила вещи мужа молча, ничего не объяснив, так что доктор Самуилович долго рыдал у калитки дома, хватался за сердце и наконец уехал в другой город навсегда, позабыв на скамье автовокзала воспоминания и свой стетоскоп.

Эмма Леопольдовна не имела собственных детей, зато учила чужих в средней школе номер два немецкому языку. Дети учились плохо, но никто учиться хорошо немецкому у них и не просил. Получив в аттестате четыре, зная на языке Гёте только «дас ист фанташтиш», они уходили в ПТУ, где приобретали профессию токаря или фрезеровщика. Лучшие ученики школы поступали в текстильный техникум. Медалистка Лена Шапкина уехала в областной центр и поступила в пединститут. Ею гордился весь город.

А потом Эмма Леопольдовна состарилась и умерла. Никто точно не знал, на каком кладбище ее похоронить. На еврейском или на русском? Немецкого кладбища в Калиновке отродясь не было.

Сошлись все-таки на еврейском. На всякий случай. Исключительно из материальных соображений. На еврейском оказалось дешевле. Да, да, не удивляйтесь, евреи Калиновки в девяностых почти в полном составе уехали в Израиль и даже в Германию. А Эмма Леопольдовна продолжала всех запутывать, никуда не собираясь уезжать. Так вот, евреи уехали, а русские, наоборот, приехали из окрестных деревень в освободившиеся и вновь строящиеся квартиры. Потому спрос на места захоронения евреев упал, ввиду их отсутствия, а на места захоронения русских – вырос, ввиду их присутствия, да и лихие девяностые подняли планку спроса до невиданных высот.

Таким образом тайна происхождения Эммы Леопольдовны раскрылась сама собой.

Сейчас в средней школе номер два немецкий преподает Ренат Абрамович. И опять все в недоумении. А дети по-прежнему учатся на четверки. Ну да дай им бог здоровычка.

Березовый сок

Самуил Моисеевич знает только то, что, когда никто не спрашивает, ничего говорить не надо. А если вдруг кто-то что-то спросил, то отвечать можно тоже не совсем то, что думаешь. Раньше, когда он был совсем молодой и кудрявый, его звали Муля, и он, подобно многим жителям городка, ходил собирать березовый сок.

Самуил Моисеевич, то есть Муля, вставлял жестяной желобок в белую березку и ждал, пока капельки сока не начнут стекать в привязанную банку.

Потом Самуил Моисеевич, то есть Муля, нес эту банку домой. Прохожие здоровались с ним и спрашивали:

– Что ты несешь, Муля, в этой банке?

– Водичку, – отвечал Муля и застенчиво улыбался.

Зачем говорить правду на ничего не значащий вопрос, если вас могут упрекнуть в том, что вы занимаетесь не тем, чем должны? Разве человек по имени Самуил Моисеевич должен терзать тело русской березки и сосать из нее прозрачную кровь?

Потом Самуил Моисеевич вырос, а просто Мулей его продолжала звать исключительно супруга Роза Яковлевна.

Всю жизнь Самуил Моисеевич проработал бухгалтером на канатной фабрике.

– Все в порядке? – частенько спрашивал его, встретив в конторском коридоре, директор Шульгин.

– Все более чем прилично, Иван Петрович, – стеснительно улыбался Самуил Моисеевич.

Зачем начальству знать о вашей язве и о том, что вас вчера затопили соседи сверху? Если затопили, то, слава богу, есть чем. И в кране таки есть вода, поэтому, если вас зовут Самуил Моисеевич, можете пока спать спокойно, вам никто не предъявит ее отсутствие.

Сегодня все изменилось. Сегодня все не так, как было. Самуил Моисеевич уже не работает бухгалтером, он вышел на пенсию.

– Вы за кого? – спрашивают Самуила Моисеевича. – За этих или за вон тех?

Самуил Моисеевич не привык к таким вопросам. Потому что раньше все были за одних и тех же.

Самуил Моисеевич просто пожимает плечами и молчит. Он понимает, что в принципе те, кто его об этом спрашивает, хотят одного и того же, только разными путями и жертвами.

Но в конце концов платить по счету за попорченные березки и отсутствие воды в кране придется ему. Поэтому он молчит, своим молчанием оттягивая расплату. А по ночам ему снится банка с березовым соком и березовая роща, которая шумит листвой исключительно для него. Но он об этом никому не расскажет.

Меня всегда любили

– Как это еврей? – не унимался я.

– Майнэ ингеле, – ответил дедушка. – Так это. Ты, конечно, можешь слушать за ту ерунду, что тебе говорит твой папа, который мой сын, но я тебе так скажу: не то чтобы было лучше, если бы ты родился в семье приемщика стеклотары дяди Феди, который русский, как белая береза, но тебе было бы немножко спокойнее.

Я давно подозревал, что семья у меня не совсем такая, как у всех. Во-первых, мои бабушка и дедушка говорили на непонятном языке. У других детей такого не было. Бабушки и дедушки других детей говорили почти по-русски, а у некоторых даже с «ходы сюды», «пойду пошукаю» и «Витя, падлюка, кажу бате, ен те пизды дасть».

Некоторые слова, которые говорили мои бабушка и дедушка, я даже улавливал на слух и научился понимать. Например, про «дрек» я точно знал, что это говно. Или «поц» что такое, тоже знал. Как и «шлимазл» и «азохен вэй». Дедушке нравилось, когда я, выпучив и без того выпученные глаза, становясь похожим на лемура, больного базедовой болезнью, выпаливал: «татэ майнэ таэре, ахи эсдерен копф!».

Тогда он смеялся и кричал бабушке на кухню:

– Циля! Циля! Ты слышишь этого шейгеца? Налей ему компотика!

Так вот, я давно подозревал, что с моей семьей что-то не так. Пару раз во дворе пацаны называли меня евреем, вернее нехорошим словом на букву «ж», но у нас слово это означало еще и «жадина». Я удивлялся, какой же я жадина? И лез в драку. Еще тетенька однажды назвала меня еврейчиком. Причем слово на букву «ж», как мне казалось, да и сейчас кажется тоже, не такое обидное, как еврейчик. В слове еврейчик, как и в слове «мужчинка», которое любят использовать некоторые дамы, есть что-то уничижительное и унижающее.

Но дело не в этом. Просто наступил тот день, когда я самоидентифицировался. Папа мне объяснил, что мы евреи, и что это хорошо. Собственно, я и не спорил. Потому что папа у меня хороший, мама у меня красивая, значит, и евреем быть не так уж и плохо. Ну, придется, когда стану дедушкой, говорить на непонятном языке, так я уже кое-что даже выучил. Кишен тухес, например.

Поэтому слова дедушки я воспринял с удивлением:

– Но почему, дедушка? Мне этот дядя Федя даже и не нравится совсем, у него усы, как у Гитлера, и он всегда пьяный.

– Понимаешь, ингеле, я не говорю, что евреем быть плохо. Таки евреем быть хорошо. У нас есть Ротшильд, который прекрасно живет сразу за всех нас, у нас есть синагога, у нас есть гефилте фиш. Так вот гефилте фиш, я тебе скажу, чтоб ты мне был здоров, уже стоит того, чтобы его кушать и быть евреем. Но есть одна вещь, ингеле, которая делает нам кадухес на всю голову и немножко портит нам жизнь. Я виноват перед тобой, ингеле, что родил твоего папу, который мой сын, в этой стране. А он родил тебя, который мой внук, там же. Нет-нет, я одобряю политику КПСС и люблю товарища Брежнева, как родного. И товарища Сталина, который хорошо, что умер, но и ему дай бог здоровья, я тоже любил. И даже потерял глаз и другое здоровье на войне. Но если тебе интересно, я тебе расскажу. Когда в этой стране таки все хорошо и мирный атом, то тебе говорят: ты еврей, сиди и не лезь. И евреи таки сидят и не лезут. А зачем им лезть, если им так говорят? Мы и делаем то, что нам говорят. Но когда в этой стране случается цорес, война, засуха или прочий Днепрогэс, то евреям говорят, вставайте и идите воюйте, пашите и желательно сдохните за общее дело, вы же советские люди. Уж лучше вы сдохните, чем нормальные люди. И евреи встают и делают, что им говорят. Нет, не то чтобы я жалуюсь, я просто говорю тебе, ингеле, почему. Ты же спросил почему, я и говорю почему.

– Но почему так происходит? Евреев не любят?

– Почему не любят, ингеле? Меня всегда любили. Так и говорили: Зэлик, ты хоть и еврей, но вполне нормальный. Понимаешь? Вполне нормальный. Вот им только жаль, что еврей. А то был бы не вполне нормальным, а просто нормальным. А так любят, конечно.

– Ничего не понимаю, деда. Так любят или нет?

– Ай, ингеле, я тебя прошу, не делай мне беременную голову. Тебе мало, что мы тебя любим? Тебе надо, чтобы тебя любил еще и дядя Федя, приемщик стеклотары? Ция! Ция! Налей этому шейгецу компотика!

Все к лучшему

– Ты же знаешь, Зяма, ты мне как родной. Но если что, так оно мне надо? Твой Миша, чтоб был мне здоров, вгонит всех в цугундер, я с ним помру насмерть, а потом буду долго болеть. Это же надо натворить такой цорес посреди бела дня и не понимать, за что ему говорят?

– Аркаша, я тебе обещаю, как в синагоге, что я этому поцу вырву все ноги, и он будет ходить на руках. Но может, что-то можно-таки сделать?

– Ай, откуда я знаю, можно или не можно? Если завуч Степанова не написала докладную, как это у нас любят, сам знаешь куда, так может и можно. А если написала, так ты что думаешь, я приду в КГБ своими ногами и буду драться с полковником ихних войск?

– Так может, она и не написала, как ты думаешь, Аркаша? Она же могла и не написать, может, и не так все плохо, Аркаша?

– Могла и не написать, Зяма. Она все могла, Зяма. Но знаешь, что я тебе скажу? Как только человек по фамилии Степанова стоит перед выбором: писать или не писать за человека по фамилии Розенбойм, – таки они в основном пишут. И пишут подробно красивым почерком, чтоб все могли разобрать. И очень жалеют, что в таких документах нельзя рисовать картинки. Они бы рисовали, Зяма. Они бы так рисовали, что Айвазовский плакал бы у себя в гробу, Зяма.

– И што теперь делать за Мишу, Аркаша? Он же хороший мальчик, он же всегда всех слушает и хорошо кушает, зачем портить такому мальчику жизнь? Ой, вэй, что делать? Что делать?

– Ша! Зяма, только не надо делать таких нервов. Ты можешь сидеть на тухесе до Хануки, но лучше встать и ногами идти за поговорить. Если надо сам понимаешь что, так дай ей сам понимаешь что!

– Аркаша, ну что я ей дам? Я же не директор гастронома, я просто бухгалтер, у меня есть чужие деньги, но у меня нет своих денег.

– Я тебя умоляю, Зяма. Это не те деньги, которых у тебя нет! Возьми конфеты из шоколада и поговори с ней как с советским человеком.

– Ой, мне уже все равно, лишь бы да... Ты же знаешь, когда Софочка умерла, Миша стал таким неуправляемым шейгецом, что я тебя умоляю...

Зяма Розенбойм в новом коричневом пиджаке и в старом полосатом галстуке постучал в обитую дерматином дверь, на которой кривовато висела табличка с лаконичной надписью: «Завуч».

– Войдите! – раздался женский голос из-за двери, и Зяма зашел.

– Здравствуйте, мадам Степанова! – подслеповато прищурился Зяма, рассматривая сидящую за большим столом, усыпанным бумагами, женщину.

Женщина была наверняка высокая, потому что в сидячем положении голова ее была примерно на уровне головы стоящего Зямы.

Зяма всегда боялся высоких людей, особенно женщин. А ее голубые глаза и высокий рыжеватый шиньон вообще ввели его в состояние полужаса.

– Здравствуй... те... – повторил он еще раз.

– Здравствуйте, – ответила женщина, раскатывая букву «р», как специально.

Зяма картавил, поэтому, услышав рычащее «р», почувствовал, как холодок пробежал по его спине.

Но отступать было некуда.

– Это вам, – выдохнул Зяма и положил на край стола коробку конфет «Птичье молоко».

– Это что? – строго спросила женщина.

– Это конфеты. Ваши.

– Это не мои конфеты. Это вы мне их положили.

– Ну, да, мои. Но вы, мадам Степанова, сидите тут без конфет, а я подумал, что вам они нужнее, – залепетал Зяма.

– Послушайте, как вас зовут? Зачем вы пришли? И почему вы меня все время называете мадам? Вы француз?

– Я не француз, нет-нет, я наоборот...

– В каком смысле наоборот?

– Ну, я не француз, – окончательно загнал себя в угол Зяма и осекся.

– Я вижу, что не француз, – ухмыльнулась завуч. – Так что вам надо?

– Мне ничего не надо. Это моему сыну. Миша Розенбойм... ну вы знаете, он в пятом «Б» учится...

– А, понятно, понятно! Это тот, который из двух копеек на уроке труда Маген Давид вырезал? Так вы его отец? Оччень хорошо! Оччень хорошо! Вырастили смену что надо!

– Да я понимаю... я же как с советским человеком... он ребенок, он ошибся, он больше не будет, я вам говорю как родной...

– А вы знаете, что нарисовано на двухкопеечной монете, гражданин Розенбойм?

– Я знаю, я возьму. Там нарисовано, что эта монета двухкопеечная. Я заплачу, честное слово....

– При чем тут это! А что нарисовано на обратной стороне? А я вам скажу, что! Там нарисован наш советский герб, славу которого несли, несут и будут нести все советские люди! А ваш сын... у меня даже язык не поворачивается сказать... ваш сын осквернил его! И чем? Сионистским знаком! Он ведь пионер! Или он был пионером? Исключили небось уже?!

– Исключили, – еле прошептал Зяма. – И что, ничего нельзя сделать? Он больше так не будет, я этого поца выпорю так, что он ничего осквернять больше не будет...

– Детей бить нельзя, – неожиданно спокойно сказала завуч.

Зяма молчал, уставившись в пол, и переминался с ноги на ногу. На стене громко тикали часы.

– Идите, я подумаю, – отрезала завуч и стала что-то быстро писать в бумаге, намекая на конец разговора.

– Я вам буду век благодарен, что хотите, вот что хотите...

– Что хочу? – неожиданно переспросила Степанова. И с интересом посмотрев на Зяму, продолжила: – Хорошо, я запомню.

Прошло десять лет.

Зяма Розенбойм шел с работы в последний раз. Потому что завод, на котором он работал бухгалтером, закрылся, и в следующий раз Зяме было идти неоткуда. Моросил мелкий дождик, падала бурая листва, была осень, и деться от нее было решительно некуда. Добредя до подъезда пятиэтажки, в которой он жил, Зяма полез в карман пальто за ключами.

– Товарищ Розенбойм? – вдруг услышал он женский голос и обернулся.

Перед ним стояла завуч Степанова. Ростом она оказалась даже выше, чем Зяма предполагал. Рыжий шиньон сменился на каштановый, а глаза были те же, голубые.

– Здравствуйте, – прошептал Зяма, – э-э-э...

– Не пугайтесь, не пугайтесь, – улыбнулась завуч. – Я к вам по делу.

– Ко мне по делу? – еще больше удивился Зяма. В последний раз к нему по делу приходил мастер шестого участка, чтобы набить ему морду из-за задержки зарплаты, в которой Зяма был вовсе не виноват, потому что личных денег даже на свою зарплату у него не было, а руководство завода свои деньги отдавать не спешило.

– Да, по делу. Помните тот случай, с Маген Давидом и две копейки? Ну, сын ваш, Миша...

– Помню, – побледнел Зяма.

Побледнел Зяма по привычке. Вот уже несколько лет не существовало Советского Союза, потому и герба его тоже не существовало. Но под ложечкой у Зямы все равно неприятно заняло.

– Ну хорошо, что помните...

– Спорно...

– Погодите, не перебивайте. Помните, что вы сказали, что будете благодарны мне?

– Помню, я вам благодарен. Но у меня ничего нет...

– Есть, Залман Израилевич, есть. У вас много чего есть...

– У меня?! – поразился Зяма.

– У вас.

– Ну, мадам Степанова, если вы вдруг узнали, что я родственник Ротшильда, таки это не так, мне страшно вас разочаровывать, но...

– Стойте-стойте. И перестаньте называть меня мадам Степанова. Меня зовут Ольга.

– Я и так стою... мадам Ольга...

– Ладно, я вам в лоб скажу тогда, Залман Израилевич. Возьмите меня замуж!

– Куда? – словно не расслышал Зяма.

– Замуж, – упрямо повторила завуч.

Зяма минуту пытался осмыслить услышанное. Вот он, сорокавосемилетний человек, лысоватый, не отличающийся физической крепостью, небогатый, да что там, прямо скажем, бедный, ростом метр шестьдесят пять. А вот женщина – завуч Степанова, статная мадам, ростом примерно метр восемьдесят два – восемьдесят три, лет на десять моложе, лет на сто красивее. И вот она просится к нему замуж. Как это? И главное, где подвох?

– Замуж?..

– Вы не ослышались. Мне очень надо уехать отсюда. Хоть даже и в Израиль. Вы обещали. Сдержите свое слово.

– А кто вам сказал, что я собираюсь ехать в Израиль?

– Никто. Все евреи рано или поздно собираются туда ехать. Так лучше рано. Мы с вами потом разведемся.

– Но...

– Может, поговорим у вас дома? – спросила завуч и открыла дверь подъезда, пропуская Зяму вперед.

Через четыре месяца семья Розенбоймов из трех человек, непосредственно глава семьи, его жена Ольга и сын Миша уехали на постоянное место жительства в город Хайфа. Говорят, что Зяма удачно устроился, даже открыл платный туалет недалеко от автовокзала. Потом разводиться Ольга почему-то не захотела. А еще у них родилась дочка Рита. Вылитая мама. Только ростом невысокая. В отца, наверное. Ну да это и к лучшему.

Плохое воспитание

Роза Самуиловна была не очень довольна воспитанием своего внука Левочки. И конечно, мальчик не виноват. В чем может быть виноват бедный ребенок, когда при нулевой температуре он ходит без шарфика и плохо кушает?

– Ну почему он плохо кушает? – спрашивала ее невестка Оля Шварцман, бывшая Гапоненко, между прочим! Только подумайте, она, Роза Самуиловна, Шварцман, сын ее Миша тоже Шварцман, и теперь вот эта Гапоненко тоже Шварцман! Когда Миша представил ее Розе Самуиловне впервые, то во всех окрестных аптеках закончился корвалол. Если бы был жив Иосиф Хацкелевич, Мишин папа, он бы умер во второй раз и больше б никогда не захотел воскресать, тем более при жизни он был такой упрямый, что делал нервы всем окружающим.

Так вот:

– Ну почему он плохо кушает? Он вполне неплохо кушает, – вопрошала Оля Шварцман, бывшая Гапоненко, свою свекровь.

– Потому! – отвечала Роза Самуиловна, и этот ответ был исчерпывающим.

– Ну что вы такое говорите, Роза Самуиловна! Левочка на завтрак скушал два яйца и сосисочку! И что это, по-вашему, – плохо кушает? Он так кушает, что слава богу! Он так кушает, что чтобы все мы кушали!

– Вы только посмотрите на эту мать! Вы слышали? – обращалась Роза Самуиловна к Зине Хаскиной на кухне коммунальной квартиры номер четыре. – Два яйца! Сосисочка! Это завтрак для маленького мальчика? Это не еда, а какие-то интимные подробности из личной жизни, и я не хочу об этом знать! Это не мать, а тайная эротоманка! Кормить этим родного ребенка! Нет, вы слышали такое, я вас спрашиваю?!

– Мы слышали, – кивала соседка по коммуналке Зина Хаскина и снимала шумовкой пенку с бульона.

– Тьфу на вас, Роза Самуиловна! Сами вы эротоманка! Пожилая женщина, а такое говорите! Стыда на вас нет!

– На мне нет стыда? Это на мне нет стыда? Да на мне таки есть стыда! Кормить ребенка всяких бебехов, чтоб он мне был здоров, и упрекать мать своего мужа в нет стыда? Левочка! Левочка, татэ майнэ таэрэ! Иди к бабушке, бабушка даст тебе оладушки и курочку!

– Ба, я не хочу! – раздавался крик Левочки из комнаты.

– Это не квартира, а сумасшедший дом, дайте уже мне спокойно умереть! – говорил Семен Моисеевич, выходя из уборной. – И что вы все орете, как при погроме? Где моя газета «Известия»? Я же просил не резать ее на подтирку! Я ее таки еще не прочитал! Нет, лучше помереть, чем жить в этом сумасшедшем доме!

– Семен Моисеевич, скорее мы тут все помрем, пока будем ждать, когда вы выйдете из уборной, – Зина Хаскина прошмыгнула в дверь освободившегося туалета. – Ой, и что вы такое кушали, Семен Моисеевич? Тут мухи летают неживые и с выпученными глазами!

– Кишен тухес! – отвечал Семен Моисеевич и ковылял к себе в комнату.

– Левочка, деточка, иди сюда, говорю, шейгец! Не хочешь курочку, я дам тебе рыбки! Ты же любишь рыбку, Левочка!

– Ба, ну я не люблю рыбку!

– Вот, – сжав губы и презрительно сверля невестку глазами, говорила Роза Самуиловна. – Вот! Это твое воспитание! Это ты его распустила! Говорить бабушке за такое! Если бы я сказала своей бабушке за такое, она бы убила меня насмерть, а потом заставила бы хорошо покушать!

– Роза Самуиловна, мальчику четырнадцать лет! Он уже взрослый, вы не можете накормить его силком.

– Четырнадцать лет – это уже, по-ихнему, взрослый! Четырнадцать лет, что он понимает?! Тем более с такой матерью! Левочка, иди сюда, я тебе налью супчик! Это же не супчик, а здоровье! Иди, Левочка, посмотри на этот супчик!

Оля Шварцман, бывшая Гапоненко, только отмахнулась и продолжила нарезать помидоры.

Роза Самуиловна была не очень довольна воспитанием своего внука Левочки. И конечно, мальчик не виноват!

– Бабуля, давай еще, надо доесть. – Лева Шварцман кормил Розу Самуиловну.

Месяц назад у нее произошел инсульт. Прямо на кухне. Зина Хаскина вызвала скорую, и Розу Моисеевну увезли в больницу.

Вчера ее выписали домой. Говорят, что, если все будет хорошо, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, она обязательно поправится. А пока она лежит в кровати и не может самостоятельно кушать.

Ну так Лева Шварцман, ее внук, слава богу, в состоянии ее покормить, пока Миша и его жена Оля Шварцман, бывшая Гапоненко, на работе. Ничего с ним не случится. Конечно, Роза Самуиловна не очень довольна воспитанием своего внука, ну да ребенок не виноват.

– Бабуля, давай последнюю ложку, – говорит Лева Шварцман, сует ложку овсянки ей в рот и улыбается. – Вот и хорошо. Ну, поспи, поспи. Я тут.

Полчаса до закрытия гастронома

– Мама, мне дурно от ваших слов! С какой стати я вообще должен жениться, если я даже не собирался!

Додик Куперман стоял в центре комнаты и нервно протирает очки краем майки.

– Додик, ты или загонишь меня в гроб, или я не знаю что! Можно подумать, я предлагаю тебе не жениться, а пройти на расстрел! И потом, тебе тридцать! Тридцать, Додик! В твоём возрасте твой папа уже имел семью и тебя! И потом, это же тебе не какая-то шикса, а приличная девочка, дочь завскладом! Ты знаешь, кто ее папа? Нет, ты знаешь, кто ее папа?!

– Я даже ничего не хочу слышать ни про эту приличную девочку, ни про ее папу! Какая разница, кто ее папа? Вы, мама, надеюсь, не хотите, чтобы я женился на ее папе?

– Додик, тебе тридцать лет, но ты не знаешь жизни, Додик! Когда ты женишься, а ты, Додик, обязательно женишься, то помимо невесты и свадебных подарков ты получаешь папу! А папа Розочки Цырульник, Моисей Самуилович, такой человек, что боже ж мой! Ты будешь жить и не нуждаться, Додик! У тебя будет каждый день рыба на столе и шелковые кальсоны на тухесе, Додик!

– Мама, прекратите продавать меня в рабство какому-то папе и его Розочке! Я желаю делать карьеру, а не ходить на рынок, чтобы вашей Розочке было из чего готовить борщ! Я не желаю ничего слушать!

– Шо? Карьеру? Это что ты называешь карьерой, поц? Я тебе немножко напомним, что ты работаешь учителем! Учителем математики, Додик! Ты учишь детей, чтоб они были здоровы, умножать цифры друг на друга! Половина из них забывают твои цифры уже через пять минут после звонка! Какую карьеру ты хочешь сделать, еврейский Макаренко? Стать завучем и получать на пять рублей больше? Или ты хочешь стать заслуженным учителем Советского Союза? Так я тебе напомним, если у тебя, Додик, склероз! Заслуженный учитель Советского Союза Давид Нахимович Куперман? Ты серьезно, Додик? Ну почему такой умный мальчик вырос таким идиотом?

– Мама! Прекратите, ма...

Но тут в дверь громко постучали.

Додик осекся на полуслове и вопросительно посмотрел на маму.

Клара Львовна сделала непроницаемое лицо и пошла открывать.

В дверях стояла невысокая слегка полноватая девушка с оленьими глазами и тяжелой черной косой.

– Розочка! Боже мой, какая вы красавица, тьфу на вас! Ну, наконец-то вы зашли к нам в гости! Я так рада, так рада! Как ваша мамочка, чтоб она мне была здорова! Как папочка? Вы проходите, проходите! Додик, что ты стоишь, как три тополя на Плющихе, иди уже что-нибудь надень, ты не видишь, у нас гости? Прямо неудобно! Вы уж извините, Розочка, он у нас немного задумчивый...

– Мама! – прошепел Додик, густо покраснел и, сжимая кулаки, выбежал из комнаты.

Чаепитие прошло странно. Клара Львовна без остановки говорила, задавала вопросы Розочке, которая отвечала односложно: да, нет, конечно. Додик молчал и от волнения выпил четыре стакана чая.

Наконец Клара Львовна исчерпала запас слов и замолчала. Нависла пауза.

– Ой! А что это я тут сажу! Мне же в гастроном надо, мне Зиночка оставила курицу, надо забрать, пока она домой не ушла. Розочка, вы знаете Зиночку? Зина Хаскина, товаровед из нашего гастронома?

– Нет.

– Я вас обязательно познакомлю! Очень хорошая дама! У нее всегда можно купить для своих, ну, вы понимаете...

– Понимаю, – кивнула Розочка.

– Ну, вот. А вы тут пообщайтесь немножко, я постараюсь скоро вернуться...

– Мама! – жалобно простонал Додик...

В комнате было тихо. Слышно было только тиканье настенных ходиков и жужжание бьющейся о стекло мухи.

– Кхм, – кашлянул Додик.

Розочка тяжело вздохнула.

– Вы хотите, чтобы я ушла, Додик? – грустно спросила Розочка.

– Я?

– Вы...

– Нет... в смысле... э-э-э... Зачем же?

– Я не знаю. Может быть, вам так хочется, а я тут сижу и сижу...

Додик впервые за вечер поднял глаза и рассмотрел девушку. Ему стало неловко.

– Нет, что вы. Сидите. Хотите еще чаю?

– Спасибо, я уже выпила...

– Я тоже...

– Послушайте, Додик, я ведь знаю, зачем меня пригласила ваша мама...

Додик вновь покраснел.

– Так вот. Если я вам не нравлюсь, это ничего страшного... Вы же не обязаны. Я не обижусь...

Они сидели друг напротив друга. Додик смотрел на Розочку. Розочка смотрела на Додика. Часы тикали. Муха жужжала.

– Я правда не обижусь, – сказал Розочка и поднялась с табурета. – Ну, я пойду?

Додик молчал.

Розочка вздохнула и пошла к двери.

– Постойте! – крикнул Додик вслед.

Розочка остановилась и медленно повернулась к нему.

Они стояли друг напротив друга. Додик смотрел на Розочку. Розочка смотрела на Додика. Часы тикали. Но жужжания мухи больше слышно не было. Вероятно, она улетела.

– Нравитесь, – тихо, но достаточно, чтобы быть громче тиканья часов, сказал Додик.

– Я? – Розочка была явно растеряна.

– Вы...

Где-то у окна, очнувшись, зажужжала муха...

Клара Львовна оторвала ухо от двери и довольно улыбнулась, а потом тихонько, на цыпочках, спустилась по лестнице на улицу. До закрытия гастронома оставалось полчаса.

Скрипка Якубовича

Лев Абрамович смотрел футбол. Кроме футбола Лев Абрамович иногда смотрел новости. Внимательно выслушав новость о том, что на полях Кировоградской области был собран рекордный урожай кукурузы, он непременно вздыхал и говорил:

– Кукурузу они собрали. Кусен тухес.

Потом он откладывал ножницы в сторону, брал со столика пульверизатор и, нажимая резиновую грушу, брызгал «Шипром» на довольного клиента.

Клиент благодарил, платил тридцать копеек и уходил.

А Лев Абрамович, приволакивая ногу, ковылял к дверям, где торжественно говорил:

– И шо? Долго я буду ждать? Следующий!

Если следующего не было, Лев Абрамович опускался в кресло и смотрел телевизор.

Так было и в этот раз. Лев Абрамович смотрел футбол.

– Здравствуйте, Лев Абрамович! – сказал я.

– Здравствуйте, деточка, – ответил тот.

– Я к вам стричься, – сообщил я.

– Деточка, вы так сообщили мне эту новость, что я попытался вспомнить хотя бы раз, чтобы вы приходили сюда ради что-то другое. Идите садитесь в кресло, не делайте мне больные нервы.

– Мне под канадку, – сказал я уже из кресла.

– Я знаю. Вы продолжаете думать, что Лев Абрамович такой старый поц, что таки забыл, как он стрижет своих клиентов?

– Да я не хотел ничего такого...

– Ну, если не хотели, так и не хотите.

В это время в телевизоре забили гол. Трибуны зашумели.

Лев Абрамович пожал плечами:

– Можно подумать, что они ждали чего-то другого. Меня уже кто-то удивит сегодня, или этот день закончится скучно, как Пленум ЦК КПСС? Это же немцы.

– Лев Абрамович, могу ли я у вас спросить?

– Что?

– Вопрос...

– Деточка, вы не прекращаете портить мне этот день. Я понимаю, что вопрос. Вы таки удивитесь, но спросить можно исключительно вопрос. Я имею в виду, о чем вы хотите меня спросить?

– Почему вы так уверены, что победят немцы?

– А кто?

– Вообще-то они с нашими играют.

– Деточка, если вы думаете, что я люблю немцев, то сами понимаете, насколько ваши предположения глупы. Я перестал их любить еще под Корсунью, где меня откопали и отправили в госпиталь с покалеченной ногой. Партия меня за это наградила медалью «За отвагу». Хотя в чем была моя отвага? В том, что меня откопали? Так я вам скажу одну вещь. Там было много тех, до кого лопаты не добрались. И медали им не дали.

– Вообще-то я про футбол...

– Я тоже про футбол, деточка. Так вот, когда я вернулся домой в Сухиничи, то меня никто там не ждал, кроме соседки Тимофеевой, которая сохранила наш кухонный стол и панцирную кровать. Остальное сгорело. В том числе моя Фира и маленький сын. Их сожгли, чтобы ты себе не думал, немцы. Как вы думаете, могу я любить этих немцев, чтоб у них кадухес повылазил?

– Лев Абрамович, но я имел в виду игру...

– А я вам про что? И я тебе про игру. Вот, сами видите, немцы забили. У меня до войны был сосед Мойша Якубович, так вот он был тот еще гоцн-поцн. Он переругался со всеми в округе, включая меня. Сварливее и поцеватей этого Якубовича никто никогда не видел. Когда он шел по улице, даже его родной брат Янкель плевал ему вслед. Но если бы вы слышали, как он играет на скрипке. За эту скрипку можно было простить все. И ему прощали.

– А футбол?..

– Деточка, вы дадите мне договорить? Никакого уважения к кавалеру медали «За отвагу»! А футбол тут вот к чему. Немцы играют очень красиво. Вот при чем тут футбол, деточка.

– И вы им тоже можете все простить?

– Мойша Якубович, конечно, был ужасным человеком, деточка. Но его тоже расстреляли вместе с еще десятком евреев прямо у синагоги. Причем немцы. Как вы думаете, могу ли я простить им Фиру, моего маленького сына и скрипку Мойши Якубовича? Нет, конечно. Но играют они красиво. Все. Вас освежить?

– Да.

Лев Абрамович взял пульверизатор, нажал несколько раз на резиновую грушу и обдал меня «Шипром».

Встав с кресла, я расплатился и, попрощавшись, направился к выходу.

– Давид! – сказал мне вслед Лев Абрамович. Я обернулся и вопросительно посмотрел на него.

– Моего маленького сына звали Давид.

Лев Абрамович тяжело опустился на кресло.

– Все, идите, сейчас новости начнутся. Про кукурузу.

– Какую кукурузу?

– Все, деточка, не мешайте...

Я улыбнулся и вышел на улицу.

Цыпа

Забор упал-таки. Ну, говорила же Цыпа, что это произойдет, вот он и упал.

Цыпа знает, что говорит, это вам каждый скажет. Нет в мире ничего, в чем бы Цыпа не разбиралась. Кто в прошлом году сказал, что спички подорожают? Цыпа, конечно, кто еще. Зря Броня Спивак с ней только спорила. А кто угадал, что у Зямы Шварцмана таки родится девочка, а не мальчик, сколько бы он не откладывал деньги на брит-милу? Опять Цыпа.

Вот и с забором та же история. Еще в прошлый понедельник Цыпа говорила своему мужу Зелику, что забор упадет и что надо что-то делать. Что сделал Зелик? Правильно, ничего!

Забор этот не такой уж и старый, чтобы просто так падать. Ему всего чуть больше года. Просто дело не в ветхости, а в том, кто его строил. А строили его эти солдаты, эти танкисты, которые зачем-то организовали свои казармы прямо рядом с домом несчастной семьи Беренбаум, чтобы те плохо спали и слушали их топот по асфальту.

Оно им надо? Оно им не надо. А что делать? Ничего не делать. Цыпа, конечно, авторитетная женщина, но не так, чтобы спорить с Генштабом. Но хотя бы забор они могли построить нормальный, чтобы он не падал и не создавал вырванные дни из жизни Цыпы?

– Зелик, он все!

– Что такое, Цыпа, что случилось?

– Я говорю тебе, что он все, а ты меня спрашиваешь еще, что случилось?!

– Да, я спрашиваю тебя, что случилось, потому что я не знаю, кто все, Цыпа.

– Забор все, Зелик, забор! Я говорила тебе, что он упадет, Зелик? Нет, я спрашиваю тебя, я тебе это говорила или не говорила?

– Ну таки что, он уже все?

– Ты не слышишь, что я тебе говорю?! Да, он уже все, Зелик! Иди что-то с этим сделай, так же невозможно жить, Зелик! Мало того, что я слышала этих военных, так я еще и должна теперь их видеть?!

Зелик работает шофером. Это не совсем та работа, о которой мечтал для него его папа Хацкель Моисеевич Беренбаум, который был по образованию ветеринаром, но работал счетоводом на овощном складе. Но что делать, если после ранения на фронте Зелик имеет один глаз и не может, как раньше, работать ювелиром. Потому что, как он говорит, он лишился рабочего глаза, а с нерабочим глазом выходит одна халтура.

А Зелик не такой человек, чтобы делать халтуру, он порядочный человек, а не босьяк. Вы, конечно, можете спросить, а что, мол, с одним глазом можно быть шофером? Нет, вы спросите, спросите!

Зелик вам ответит, что да, можно, и что тут такого? Во всяком случае, это не делать плохие обручальные кольца, и от этого не страдают невиноватые новобрачные.

Зелик ездит на полуторке, возит бидоны молока из совхоза в город, и всем от этого хорошо. Цыпа даже иногда делает сметану и немного масла. Только не делайте беременную голову и не говорите, что это плохо, можно подумать, что кто-то от этого заболел.

У Зелика есть сын Гриша, ему восемнадцать, он умеет на скрипке и немножко петь. Но лучше бы он умел ставить заборы, а там пусть поет и делает, что желает.

– Цыпа, ну и что ты от меня хочешь? Что я могу, Цыпа? Это же не наш забор, это военный забор. Это такой военный забор, что у него, наверное, есть даже звание. Этот забор на гособеспечении, понимаешь, Цыпа? И я тут что могу сделать?

– Как это что? Мне все равно, чей это забор, хоть самого главного балабуза в совхозе, откуда ты возишь свое молоко, но мне от этого дурно! И потом, этот забор упал прямо на наши камушки. И как ты теперь будешь кормить свинок?

Камушки – это тропинка к сараю, в котором Цыпа и Зелик держат двух свиней. Конечно, об этом все знают, но делают вид. Тем более что тут такого, когда людям надо что-то немножко кушать, а тут есть, что вырастить и продать? В конце концов, Цыпа не дочь ребе Нахмана из Умани, чтобы делать печальное лицо при слове «сало».

Хотя местный раввин Шелевтевич закатывает глаза и начинает громко молиться, когда Зелик идет мимо, ну, так и дай ему бог здоровья, пусть себе молится, ему никто этих свинок и не продает.

– Ай, Цыпа, ну! Это же не Синайская гора, а я не Моисей, чтобы на нее карабкаться, прекратите этих паник, я вас умоляю.

– Он меня умоляет! Вы слышали? Азохен вэй! Ты хочешь вытрепать мне последний нерв! За что мне этот агрейсер цурес? Делай что хочешь, но завтра иди к этим красным командирам, и пусть делают как было, иначе, ты меня знаешь, я им устрою такую Курскую дугу, что они даже себе не думают!

Спустился вечер. Вечер тут спускается неожиданно, словно накрывая подушкой, глухо и темно.

Зелик обулся в бурки, надел фуфайку, взял в руки два ведра с «мешкой» для свиней и пошел их кормить.

Во мгле чернела глухая забора воинской части с просветом обвалившегося куска, как будто частокот зубов с несколькими вырванными резцами.

– Ой! – вскрикнул Зелик, споткнувшись об доски, завалившие тропинку.

– Стой, кто идет! – раздалось в ответ, и Зелика осветило двумя яркими лучами ручных солдатских фонарей.

Зелик остолбенел, уронил ведра на землю и задрал руки вверх, по темной траве расплзлась вязкая жижа свиной еды.

– Это никто! Это Зелик Беренбаум свинкам кушать несет!

– Руки вверх! – раздалось в ответ.

– Так я и так руки вверх!

– Это ты кому руки вверх задираешь, шлемазл? – из темноты раздался голос Цыпы. – Я тебе сейчас такие руки вверх сделаю, что ты перестанешь ходить ногами!

– Гражданочка, тут военный объект, я буду стрелять! – растерянно ответил рыжий боец, неуверенно держащий в руках винтовку.

– Посмотрите на этого поца! Военный объект?! Это никакой не военный объект! Это наши камушки и наши свинки! И чтоб я вас видела на одной ноге, а вы меня одним глазом, если завтра вы не поставите забор, как было! Убери свое ружье, куш а бэр унтэрн фартэх!¹ Зелик, что ты стал, как укушенный?! Иди домой!

– А я что? Мне сказали стоять, я и стою!

– Все, станция хацепетовка, конечная, можно выходить! А хэмдэлэ аройф, а хэмдэлэ ароп, а гезунд дир ин коп!² Иди!

Короче, на следующий день забор починили. Но Цыпа говорит, что ненадолго, что скоро он опять завалится. А Цыпа знает, что говорит, это вам каждый скажет.

¹ *Куш а бэр унтэрн фартэх (идиш)* – Поцелуй медведя под фартук.

² *А хэмдэлэ аройф, а хэмдэлэ ароп, а гезунд дир ин коп! (идиш)* – Сняли рубашечку, надели рубашечку, чтоб у тебя было хорошо в головушке (поговорка).

Часть 2

Аполлинер

Свингеры

В общем, тут из-за стремления к новым веяниям современности произошел один неприятный конфуз и полное смятение чувств и принципов. Но обо всем по порядку.

Человек я довольно прогрессивный, к технологиям всяким чувствительный, понимаю, что в век свершений и покорений полюсов нельзя оставаться бесхребетным мещанином старых патриархальных устоев.

К чему я это говорю? А вот к чему. Прочитал я тут в одной статье, что, мол, в передовых странах сегодня некоторые особенно продвинутые в плане современного ощущения действительности люди практикуют такое явление, как свинг.

Ну, мол, живут себе пары, супруги, в смысле. Год живут, пять, десять, а кто и все пятнадцать. Понятное дело, супружеская жизнь – штука серьезная, тут вам, если вы человек порядочный, не до адюльтеров и измен.

Если начали любить себе человека, то будьте добры, любите его на здоровье, и нечего на других смотреть, а уж тем более за всякие органы хватать. Но так-то оно так, однако, по исследованиям всяких врачей и зарубежных психологов, половые влечения к одной и той же особе у людей притупляются, инстинкты не срабатывают, что вызывает всяческое разочарование и семейные сцены с разделом детей и имущества.

Вот тут, как оказалось, и пришел на помощь так называемый свинг. То бишь, вы договариваетесь с такой же парой супругов, у которых в наличии схожие проблемы с половой радостью, встречаетесь и занимаетесь интимными соитиями вместе, как бы меняясь партнерами. Ненадолго, конечно.

Тут, с одной стороны, в наличии разврат, на первый взгляд. Но, приглядевшись, вы, если человек прогрессивный, а не какой-нибудь монтер или водитель троллейбуса, поймете, что изменой тут и не пахнет. Ибо все действие происходит в присутствии второго супруга, с его согласия, посему какой же это разврат и неверность?

Ну вот, я прикинул, так сказать, ситуацию на себя. Все сходится. С супругой моей, Клавдией Ивановной, мы почитай уже тринадцать лет в браке. Ну, спим вместе, конечно, но не так ярко и отчетливо, как это было на первом году совместной жизни.

Раньше у нее голова болела реже, а я уставал не так часто. Моложе были, что ли.

А что если, думаю, и нам попробовать этот самый свинг?

Ну, я супруге за ужином свой план и изложил.

Она покраснелась, запричитала:

– Тьфу, – говорит, – на тебя, скотина! Ты что это такое надумал? Совсем кукушку потерял?

– Во-первых, – отвечаю, – ты, сука такая, меня скотиной не называй. Мы люди интеллигентные, поэтому, падла, соответствуй. Во-вторых, ничего такого тут нет. Если ты быдло и деревенская колхозница, то так и скажи, и нечего тут плевать.

Видю, успокоилась немного, тут я ей и статейку подсовываю, на, мол, читай. Если и дальше хочешь интиму раз в месяц, ради всех святых, продолжай в том же духе. А вот если хочешь идти в ногу со временем и быть женщиной прогрессивной, то соглашайся, Клава дорогая, и не гунди.

Короче, через неделю уговорил.

Стали думать, кого на свинг приглашать. Зеленецкие не подходят, пожилые больно и потасканные. Степановы тоже, не поймут ввиду пролетарского происхождения и отсутствия высшего образования. Куперманы могли бы, да только они на лето в Кимры уехали, Юлдусовы вроде ничего, но Клаве их глава семейства не по вкусу, уж больно волосат. Иванченко я сам отверг, потому что женская половина у них малопрезентабельна. А я еще начинающий и не такой современный, чтобы свинговать со всеми подряд.

Одним словом, среди знакомых никого подходящего не нашлось.

Три дня голову ломали. И тут пришла ко мне шальная мысль дать объявление в газете.

Позвонил и дал, так, мол, и так. Немного молодая интересная пара из мужчины и женщины познакомится для свинга и последующей дружбы с аналогичной парой. Звонить после обеда. И телефон.

На следующий день стали звонить.

Сначала позвонил некто, представившийся Николаем Панкратьевичем, и полчаса рассказывал о том, что для выращивания свиней пара не обязательна, что он вполне справляется один и может продать нам свинку-другую. Напрасно я ему объяснял, что имели мы в виду несколько другое, пришлось пообещать перезвонить на следующей неделе, только после этого он положил трубку.

Следующий звонок был более удачным. Пара, примерно наши ровесники, люди, судя по всему, образованные и потому интеллигентные и прогрессивные.

Договорились на завтрашний вечер.

Ну, Клава моя к парикмахеру сходила, белье сатиновое надела, между прочим, новое. Я тоже причесался и на брюках стрелочки отгладил. Сидим, ждем.

Наконец приходят. Он лысоватый такой и худющий, представился Петром Людвиговичем. Она брюнеточка, тоже худая как жердь, под стать мужу, зовут Нина Павловна. Разулись, прошли в комнату, на диван сели, сидят, с нами знакомятся.

Петр Людвигович сразу заявил, чтобы Клавдия его Петей звала. Нина его в бок локтем двинула и покраснела отчего-то. Он на нее покосился и тоже покраснел. Клавдия моя, смотрю, тоже пунцовая на кресле сидит.

– Это у нас, – говорю, – так ничего и не получится. Что ж вы все краснеете, как на приеме у уролога? Мы тут свингом собрались заниматься или на профсоюзное собрание?

– Точно, – откликается Людвигович. – Надо бы как-то разрядить обстановку. Давайте-ка все разденемся хотя бы до исподнего, чтобы как-то друг к дружке привыкнуть.

Клавка моя краснеть перестала и заявляет:

– Это как это раздеться? Так сразу, что ли? Да я даже перед собственным мужем раздеваюсь в полумраке, а тут, можно сказать, чужие люди и электрическое освещение, я так не могу и на обнажение никак не согласна.

А Нина в такт ее словам головой кивает и краснеть ни на минуту не перестает.

– Ладно, – отвечаю, – электроосвещение – дело поправимое.

Подхожу и свет выключаю. А для убедительности еще и шторы задергиваю. В комнате не то что полумрак, полный мрак воцарился. Темнота, как в преисподней. Стало как-то тихо и таинственно.

Посидели в темноте минут пять, тут уже Людвигович не выдерживает:

– Давайте, – заявляет, – раздеваться, что ли. Темно вроде, и не видно ни хрена.

Все в ответ молчат, вроде как соглашаются.

Ну, раз такое дело, я брюки с себя снял, рубашку стянул. Остался, так сказать, в нижнем белье, как мать родила. В майке, трусах и носках. Носки, думаю, в свинге не важны, пусть себе. Подумал немного, майку тоже снял. Трусы хотел, но подумал, что успеется, должен же быть некоторый элемент таинственности.

Разделся, значит, сел на край дивана, сижу, жду, что дальше будет.

А Людвигович из мрака спрашивает:

– Ну, что, все разделись?

Опять вроде как все молчат и соглашаются.

Посидели еще несколько минут. Тут уже я соскучился и говорю:

– Ну, что ж вы, граждане? Мы так до сути и не доберемся, вы как хотите, а пора бы и к делу приступать.

И Людвигович из темноты:

– Да уж, пора бы.

Через минуту понимаю, что инициативу пора самому проявлять, иначе мы так до Дня железнодорожника тут сидеть будем. И двигаюсь в левую сторону, где, по моему разумению, должна сидеть Нина Павловна. Рукой сбоку от себя шарю, пока не нашупал ее худой бок. Она сначала отпрянула от прикосновения, а потом вроде даже по направлению ко мне двигаться стала, пока мы не уселись с ней бок о бок. Ну, думаю, тут главное не останавливаться, свинг так свинг. И рукой ее как бы приобнимаю, чувствуя, что сверху у нее какое-то бельишко, вроде комбинации или ночной сорочки.

Нагибаюсь, целую в плечико и шепчу в ухо:

– Что ж вы, Ниночка, не до конца обнажились? Неужто и в темноте стесняетесь?

Тут она как отпрянет от меня, прямо как фурия, и как закричит:

– Какая такая я вам Ниночка? Я Петр Людвигович, тьфу ты, какое омерзение с мужчиной обниматься, пускай и в полной темноте!

У меня аж горло пересохло от неприятных ощущений.

– Как хотите, – говорю, – а я свет включу, это ж в темноте что угодно произойти может, даже такие фатальные ошибки, когда мужчина мужчину в плечо поцеловал! Ужас какой-то и безобразия!

Рукой выключатель на стене нащарил и включил.

Пожмурился от неожиданного света и вижу – это что же такое?

Мы с Людвиговичем сидим в белье, причем тот даже майку не снял, а Клавдия моя вместе с его Ниной, так сказать, при полном обмундировании, даже пуговиц на кофтах не расстегнули. Я от возмущения прямо дар речи потерял.

– Как же это так? Что-то какой-то хреновый свинг у нас получается. Что происходит, граждане? Мы так не продвинемся никуда! Это что за безответственное отношение к свингу? Ведете себя, как пещерные люди, отказываясь раздеваться и способствовать прогрессу!

Петр Людвигович со мной целиком и полностью соглашается, поддакивает и плюется от возмущения.

Тут Клавдия моя не выдерживает:

– Вы, Петр Людвигович, плевать перестаньте, между прочим, тут вам не цирк и не театр какой-нибудь. У нас, между прочим, паркет. И я за вами ваши плевки мыть не нанималась. Вон пусть твоя кикимора теперь нам полы моет.

Тут Нина Павловна встрепелась:

– Ты, – говорит, – сама на себя посмотри, чучело, отъела задницу по два центнера полу-жопие и еще меня кикиморой называешь, сучка?

Тут Клавдия окончательно завелась:

– Ты на кого вафельницу открыла, каракатица? Я сейчас из тебя душу выну и ею полы у нас сама вымою с хлоркой! А ну пошла вон отсюда, пока я тебя тут не похоронила!

Нина Павловна вроде как этого и ждала:

– Подумаешь, – говорит, – тоже мне, интеллигенты! Мы думали, вы приличные люди, а вы быдло и рвань сельская! Пошли, Петюня, отсюда, найдем людей посимпатичнее и пообразованнее этих шаромыжников.

Людвигович давай судорожно вещи на себя натягивать и уходить торопиться.

– Как же так, – говорю, – граждане, это какое-то недоразумение получается, что за скандалы на ровном месте? Петр Людвигович, а как же свинг, прогресс, передовые технологии, в конце концов? Что вы, как дети, неприлично ругаетесь?

Людвигович штаны застегивает и пыхтит:

– Да я-то что? Это Ниночка, мы же в двадцать четвертый раз пытаемся приобщиться к европейской культуре, и каждый раз одно и то же. Никак с ней не получается. Уж не знаю, что и делать.

Клавдия моя не унимается:

– Валите, валите отсюда, хамы трамвайные, ни культуры, ни воспитания, взяли моду плевать на паркетное покрытие! Пошли отсюда, не задерживайте занятых людей, у нас, может, планы и неотложные дела, а вы тут толпитесь в помещении и мешаете их осуществлению!

Нина Павловна в ответ ее хабалкой обозвала, взяла мужа под руку, и они удалились из нашей жилплощади по своему месту прописки или еще куда, уж и не знаю.

Я, конечно, Клавдию отчитал за учиненный беспорядок и недопонимание, но пришел к выводу: не готов еще наш человек к свершениям всемирного прогресса, мелковат и старомоден. Жаль, конечно. Но до Европы нам далеко с таким мировоззрением. Одним словом, есть о чем задуматься и над чем работать, граждане.

Мерзавец

Супруг Веры Тимофеевны был подлецом. И еще скотиной. А иногда даже мерзавцем был супруг Веры Тимофеевны. Она так и заявляла ему:

– Борис, ты мерзавец! – и уходила, заламывая руки, на кухню, где долго мыла тарелки, зло и нарочито гремя посудой.

Супруг Веры Тимофеевны привык к этому и даже особенно не возражал. Невозможно возражать против того, что солнце на небе светит. Это нормально. Быть подлецом в глазах Веры Тимофеевны ему было также нормально.

Каждый день он уходил на службу в научно-технический институт, где трудился младшим научным сотрудником, несмотря на то что возраст у него был совсем не молод, а скорее наоборот. Раз в месяц он приносил зарплату домой. Вера Тимофеевна брезгливо сгребала жалкие рубли в карман фартука и театрально заявляла:

– Ты подлец, Борис!

Супруг, как уже говорилось, не возражал. Он кушал котлету с пюре и уходил на диван, где проводил время до сна.

Пока он лежал на диване, Вера Тимофеевна еще неоднократно называла его подлецом, мерзавцем и даже скотиной. Супруг ничего не отвечал, лениво листая журнал «Огонек» или какую-нибудь техническую литературу.

У Веры Тимофеевны и ее супруга-подлеца была дочка Нюрочка. Абсолютно ангельское создание с ясно-голубыми глазами и кудрявыми локонами на светлой головке.

Когда Вера Тимофеевна в очередной раз громогласно заявляла супругу, что тот мерзавец, Нюрочка грустно смотрела на отца, а он грустно смотрел в ответ, и оба вздыхали.

Так они и жили. Нюрочка закончила школу, поступила в экономический институт и в один из весенних дней пришла домой не одна. Рядом стоял высокий коротко стриженный молодой человек и улыбался.

– Вот, мама и папа, это Славик. Мы с ним решили пожениться, – весело проворковала Нюрочка.

– Что? – удивленно воскликнула Вера Тимофеевна и выронила из рук поварешку.

Супруг ее, Борис, ничего не сказал, только заинтересованно взглянул с дивана через журнал «Огонек».

– Да вы не волнуйтесь! Мы будем жить в общежитии, нам там комнату дадут как молодой семье.

Вера Тимофеевна тяжело опустилась на табурет.

Всю неделю после этого события Вера Тимофеевна уговаривала дочь не делать опрометчивых поступков, что мужчины часто бывают подлецами, мерзавцами и даже скотинами.

– Вот возьми хотя бы твоего драгоценного отца!

– А что папочка? Папочка хороший, – тихо говорила Нюрочка.

– Хороший?! Да он настоящий мерзавец! Подлинная скотина и заправский подлец! – спорила Вера Тимофеевна. – Борис! Борис! Ну почему ты молчишь, мерзавец?! Скажи, что я права!

– Права, – говорил тот с дивана и переворачивал страницу технического справочника.

Но свадьба все-таки состоялась, и молодые ушли жить в общежитие.

Вера Тимофеевна никак не могла успокоиться. Чуть ли не ежедневно она бегала в гости к дочке, а вернувшись, рассказывала, что Славик этот настоящий мерзавец.

– Представляешь?! Он съел всю тарелку борща! Всю огромную тарелку! Мерзавец! – жаловалась она мужу.

– Сегодня этот Славик перешел все границы! Он повесил на балконе сушиться белье, а рубашки прицепил на целых три прищепки! Это уму непостижимо! Подлец! Скотина!

Так продолжалось месяца три. Пока не наступил день рождения супруга Веры Тимофеевны.

Накрыли стол, пришла Нюрочка и ее Славик.

– Ты бы сказала своему мужу, чтобы обувь не раскидывал, – демонстративно сказала Вера Тимофеевна в прихожей.

Славик пожал плечами и поставил туфли аккуратно в галошницу.

– Ты бы сказала своему мужу, что эта галошница только для моей обуви, пусть ставит в другую.

Славик послушно переставил.

– Ты бы сказала своему мужу, чтобы не наедался салатами, у нас еще горячее...

– Послушайте, Вера Тимофеевна! – не выдержал Славик. – Почему вы пытаетесь со мной говорить через Нюрочку?

– Ты бы передала своему мужу, что как хочу, так и разговариваю, – побагровела Вера Тимофеевна.

Славик не спеша встал из-за стола, положил вилку на стол и сказал:

– Нюрочка, ты бы сказала своей маме, чтобы она пошла в задницу!

– К... к... куда?! – вытаращив глаза, прошипела Вера Тимофеевна.

– В задницу, – очень спокойно сказал Славик и сел назад за стол, в гробовой тишине доел салат, встал, взял Нюрочку за руку, и они ушли домой, в общежитие.

– Скотина! Мерзавец! Подлец! – опомнилась Вера Тимофеевна, когда они ушли. – А ты?! Ты почему молчал? Ты почему ничего не сделал, когда твою супругу оскорбили? Почему? Скотина! Мерзавец!

– Я не скотина. И не мерзавец, – неожиданно произнес супруг Веры Тимофеевны и вышел в другую комнату, где сел в кресло, открыл журнал «Огонек» и углубился в чтение.

Вера Тимофеевна заплакала. А когда перестала плакать, ушла на кухню мыть посуду.

Но с того самого дня ее муж перестал быть подлецом. Как-то сразу и навсегда.

Она стала звать его исключительно Борисом, а иногда, в особенно удачные дни, даже Борей.

А Славик для нее так и остался Слави́ком. Кстати, Нюра на седьмом месяце, по всем приметам будет мальчик.

Евангелие от Иуды

Повелся Витя на большие деньги, ох повелся. Ну а как не повестись было? Витя и сам понимает, что таких деньжищ ему в жизнь не заработать. Годков Вите за тридцаточку, образование никакое, когда-то со второго курса политехнического погнали, а к новой учебе как-то не прибился. Делать что-то такое, за что деньги такие заплатили бы, Витя не умеет. Работничек из него аховый, еще тот работничек. То там устроится, то здесь. Долго на одном месте не держится по разным причинам. В основном из-за бесполезности своей.

Имущества у Вити мало: норка однокомнатная в хрущобе, от мамы осталась. Жаль мамулю. Единственный человек, который Витю любил за просто так. Эх, мамуля, мамуля, словно в насмешку назвала ты сына Виктором. Какой же он победитель? Ну да мамуля откуда знала-то, что все так вот получится?

В норке мебелишко какое-никакое. Старье в основном, дрянь, не мебель. Из нового только пылесос. Да и то Витя его намутил за полцены на распродаже.

Еще у Вити жена есть. Лилия Владимировна. Но Витя ее за ценность не очень-то и считает. Он вообще не думать о ней старается и не замечать. Потому как, если совсем уж честно, побаивается Витя жену свою. Она в Витиной ассоциативной цепочке стоит в одном звене со страхом. Ложка – еда, чашка – питье, кровать – сон, жена – страх.

Собственно, вот и все. Больше у Вити отродясь ничего ценного не было.

Ах да, у него ведь дочка есть десяти лет от роду. Но Витя ее видит редко, потому что сразу после ее рождения ее к себе теща забрала. «Нечего ребенку с дураком жить», – сказала. Витя не возражал.

Тещу в Витино имущество записывать не станем, потому что сама теща спит и видит, чтобы тещей Витиной перестать быть. Лилия Владимировна, жена которая, тоже не прочь от Вити уйти хоть куда-нибудь. Витя и подавно не против. Да только что-то ничего не происходит. Живет Лилия Владимировна в Витиной хрущобе, никуда не уходит. А Витя не гонит – боится.

Вот такой человечек этот Витя. А тут такие деньжищи! Ну, как было не повестись? Никак.

Началось все как-то внезапно. Витя соседу Лукову крестовик подавал. Луков сам домкрат поставил под свою «одиннадцатую», готовился болты скручивать на колесе, а Витя как раз ему крестовик для этого и подавал, что тут такого?

Вдруг двое подходят. Одинаковые почти. Только левый с усами.

– Вы, – спрашивают, – Виктор?

– Я, – отвечает Витя, а сам удивляется, Виктором его не часто называют, в основном Витей.

Эти двое его тут же под локотки и в подворотню, Витя даже испугаться не успел, так и пошел с ними с крестовиком в руках.

В подворотне остановились, Витю к стенке обшарпанной прижали:

– Назаров твой родственник? – спрашивают.

Витя, ни жив ни мертв, кивает, мол, его родственник.

Правда, непонятно, кто он Вите, этот Назаров, то ли троюродный брат, то ли внучатый племянник. Дальний какой-то родственник.

О Назарове этом отдельная история. С Витей они ровесники примерно. Да только если Витя по жизни мается, Назаров этот, наоборот, нормально так устроился. С детства самого Назаров заводилой был, пацаны за ним косяками ходили. Хулиганили, бывало, так, по мелочам. Назаров сам умный парень, учился всегда лучше всех, потом и вовсе избранным себя почувствовал. Учителя его любили, друзья его любили, все его любили. Вите иногда тоже казалось, что он Назарова любил. Но не любил, конечно, так, завидовал немного. Хотя не смертельно завидовал. Чего завидовать тому, чего у тебя не будет никогда?

Подросли, Назаров в вуз пошел, там тоже звездой считался. Попутно бизнесом занялся. Все-то у него получалось. Только бизнесмен из него хоть и успешный, да какой-то странный получился. Под себя Назаров не греб, на мерседесах-шмерседесах не ездил, одевался скромно, а деньги казначею своему сдавал, Петьке Апостолову. Витя Петьку недолюбливал: скользкий тип, глазки бегают и бороденка на лице козлиная.

В девяностых в городе совсем плохо стало. Народ отсюда валом валил, хлебозавод единственный разорился. Спасибо Назарову, выкупил предприятие. А потом винзавод открыл, чтоб было где народу работать. Стал людей хлебом кормить да вином поить. Цены вполне себе дешевые, пенсионерам так вообще бесплатно.

Все было бы хорошо, кабы Назаров в политику не полез. Конфликт у него случился с главой местным Сидоровым. С чего все началось, Витя не знал, откуда? Только Сидоров как с цепи сорвался. Рейдеров на винзавод послал, ментов на Назарова науськал, те ему таких дел нашили, что другой бы все активы слил и в какой-нибудь Лондон улетел переждать бурю.

Только не Назаров. Тот скрывался где-то, а из подполья жалобы в Москву писал, мол, пытаются упечь невинно. Верил Назаров в справедливость, потому как сам был справедливым и честным.

Так вот, те двое одинаковых об этом самом Назарове у Вити и спрашивали. А Витя ответил.

– Ну, если твой родственник, то знаешь, где он сейчас? – спрашивает левый с усами.

– Откуда? – отвечает Витя. – Честное слово, не знаю.

– Честное, говоришь?

– Честное, – кивает Витя.

– Ладно, – соглашается второй безусый, – а помочь его найти сможешь? Нам очень он, понимаешь ли, нужен.

– А зачем он вам нужен? – интересуется Витя, а сам крестовик сжимает на всякий случай.

– По важному делу, – отвечают, – зачем же еще? Ты, Виктор, крестовик-то дай нам подержать, а то тебе, наверное, тяжело.

– Да нет, нормально, – говорит Витя, но левый с усами крестовик уже забрал.

– Ты вот что, Виктор, помоги нам найти родственника своего, а мы тебе за это денег дадим, – улыбается безусый.

Витя очень удивился. Но даже не тому, что ему Назарова сдать предлагают, а тому, что ему, Вите, кто-то хочет дать денег. Стоит Витя, рот открыл от удивления, а что сказать и не знает.

– Тебе-то что терять? – продолжает безусый. – Ничего. Кто тебе этот Назаров? Вода на киселе. Он тебе хоть раз денег давал? Не давал. А мы дадим.

Тут левый с усами из кармана бумажку достал и Вите показывает. А на бумажке цифра тридцать, а потом еще несколько нулей.

Тут Витя не выдержал и повелся. Ну, а как не повестись было? Это же такие деньжищи! Сразу все проблемы махом решить. Купить себе новую норку, а ту, мамулину, которая в хрупщобе, Лилии Владимировне оставить, пусть себе живет. И не бояться больше ничего. Дочку, конечно, жалко, теща потом его на порог не пустит, ну да Витя с такими деньгами что-нибудь придумает, наверное.

Не выдержал Витя, повелся на большие деньги, согласился.

Двое ему руку пожали и пообещали завтра прийти.

Витя к тетке Кате в тот же вечер пошел. Тетка Катя – мама Назаровская. Посидели, мамулю Витину вспомнили, выпили по сто пятьдесят. Тетка Катя холодцом угостила. Витя тетке ерунду наплел. Мол, уйти от жены решился, надо бы квартиру снять, а денег откуда у Вити? Может, сын ее, Назаров, помог бы по-родственному? Тетя Катя захмелела, с пони-

манием отнеслась, рассказала Вите, что Назаров в деревне прячется временно, что рад будет видеть родственника, попросила сыну холодца передать. Витя согласился, конечно.

Назавтра пришли те же. Витя деньги вперед попросил. Те спорить не стали, вынули пачку ассигнаций, попросили пересчитать. Витя взял и про деревню рассказал. Левый с усами поблагодарил, а безусый молча руку пожал.

Короче, Назарова повязали в тот же день. Судили. Прокурор странный попался, все жалел Назарова, вел себя как-то не по-прокурорски. Но судье-то что. Его Сидоров уже давно проинструктировал. Закрыли Назарова.

Но Сидорову и этого мало было, чем уж ему Назаров насолил, непонятно. Зря, зря, тот в политику полез. Ошибку допустил непоправимую.

Одним словом, на пересылке Назарова к нарам привязали крестом, руки в стороны, и оставили на морозе. Правда, кто-то из блатных, особенно сердобольный, сжалился над страдальцем, заколол его заточкой прямо в сердце. Не стало Назарова.

А Витя с чего-то мучиться стал. Деньги не в радость, как получил, так и лежат стопочкой в ящике для инструментов, чтобы Лилия Владимировна не нашла. Пытался взять, купить что-нибудь, да не смог. Сил нет, сердце болит, мучения одни.

В городе же буча началась, стали общак назаровский искать. Петька Апостолов исчез бесследно вместе с деньгами. Искали долго, но того как корова языком слизала. Шептались, что Петьку в Италии видели, не то в Риме, не то еще где-то. Но толком никто ничего не знал. Так и замяли вопрос.

Сын Сидорова хлебозавод себе забрал. Ничего вроде, работает.

А Витя все терзался, до психушки себя довел, месяц наблюдался, вроде на поправку пошел, выписался. А на следующий день повесился, дурак. Прямо за домом на осинке.

Лилия Владимировна после его смерти неожиданно похорошела, в Египет съездила, ремонт, говорят, затеяла, и у Лукова его «одиннадцатую» купить хочет. Луков пока думает, но скорее всего согласится.

Наденька и Шаповалов

Наденька была женщиной эфемерной, к поцелуям зовущей. Именно так определяли ее подруги. Вся утонченная, от лодыжек до запястий, Наденька любила все красивое и милое. Золотые колечки на своих тонких пальчиках, витые рамы эстампов на стенах своего будуара, длинные резные мундштуки, дымящиеся в ее кружевных перчатках. Все вокруг нее было таким же возвышенным и прекрасным, вплоть до тойтерьера Чарли, маленького, пучеглазого и дрожащего. Но даже в этой осинової дрожи было что-то воздушное и легкое.

Тем более никому было не понятно, что связывало Наденьку с Шаповаловым. Мужчиной грубоватым, происхождения пролетарского, с большими ковшевидными ладонями, торчащими из рукавов мундира майора особого отдела.

– Валерочка, котик, налей мне шампанского, – улыбалась Наденька.

Шаповалов болезненно морщился, его коробило от этого «котика», но шампанское безропотно наливал.

– Валерочка, зайчик, твоя киса хочет в ресторан! – капризничала Наденька.

Шаповалова выворачивало наизнанку от всех этих зоологических эпитетов, но он вел ее в лучшие рестораны города.

Несколько раз он просил Наденьку не называть его котиком, зайчиком и прочими солнышками. Но Наденька пожимала плечами и мурлыкала:

– Малыш, ну что ты такое говоришь? Хочу цветочков! Купи мне розочки!

Шаповалов терпел. Но самое ужасное, что Наденька не унималась и тогда, когда рядом были сослуживцы по особому отделу.

Те, конечно, ничего не говорили, а только посмеивались в кулак и недоуменно переглядывались. Их жены были не такими. По большей части это были крепкие русские женщины, которые называли мужей по фамилиям. В лучшем случае по именам. Но не Петя там какой-то и не Коля, а непременно Петр или Николай.

Шаповалов никак не мог привыкнуть к уменьшительно-ласкательным эпитетам, которыми его щедро одаривала Наденька. И очень страдал.

Был сентябрь. Осень уже подернула листву деревьев рыжиной, но еще было довольно тепло. Шаповалов пил пиво с майором Афиногеновым в городском парке. Плыли облака, где-то играл духовой оркестр, продавщица Зина разливала в бокалы пенистый напиток.

– Шаповалов, я тебе давно сказать хотел как друг... – заговорил Афиногенов.

– Чего? – очнулся от раздумий Шаповалов и сдул с кружки пену.

– Сказать тебе хотел давно, говорю. Ты бы бабу свою научил нормально обращаться, а то весь отдел смеется, ей-богу! Мы особый отдел! Бойцы, так сказать, невидимого фронта! Вся страна у нас вот где! – Афиногенов сжал кулак. – А тут котик! Солнышко! Тьфу! Научил бы ее!

– Это как – научил? – сощурился Шаповалов.

– А так! По-русски! Выпорол бы один раз, она бы этих зайчиков навсегда забыла!

Шаповалов молча поставил кружку на стол и двинул Афиногенову в глаз.

Тот охнул и упал со стула прямо на заплеванный пол.

– Ты это... чего?! – заорал он, держась за подбитый глаз.

– Того! Не твое дело! Пусть зовет, как хочет. Я люблю ее, понял?

Шаповалов не спеша встал и вышел из пивной.

По дороге он купил розы. Он шел домой, туда, где ждала его Наденька. Эфемерная, к поцелуям зовущая женщина. Которую непонятно что объединяло с этим грубоватым человеком пролетарского происхождения.

Егор Ильич Аполлинер

Вероника очень страдала от непонимания. Непонимание исходило прежде всего от мужа. Егор Ильич был старше миниатюрной и точеной Вероники на десять лет, выше почти на полметра и тяжелее в два раза.

– Мой муж... нет, нет, он меня любит, что бы там ни было... И знаете, я достаточно благодарна, чтобы говорить о том, что он та самая каменная стена, о которой мечтает каждая женщина... Но...

– Да что «но»? – ждала пикантных подробностей Эллочка фон Шершнефф, ее многоопытная в межполовых отношениях подруга. – Секс? Неужели так плохо?

– Ну, что ты... Егор... Егор Ильич крепкий мужчина. Но, понимаешь, он приземлен! Он живет в каком-то мире из железа и кирпича! Представляешь, я прочитала ему вот это: «Когда вельем сил, создавших все земное, поэт явился в мир, унылый мир тоски...», он не знал, что это Бодлер! Он вообще не интересуется ничем, кроме работы, дома и рыбной ловли! Я живу с ним, как с грубым неотесанным мужиком...

– Да уж... – после некоторой паузы промолвила Эллочка и внезапно воскликнула: – Я знаю, что делать!

В тот же день подруги посетили выставку модного художника, которая проходила в не менее модном лофте с винными погребами.

Кругом было много утонченной публики, подавали молодое вино, говорили об искусстве, кто-то читал стихи, кто-то рассуждал о преимуществах позднего Ренессанса над ранним, кто-то сдержанно смеялся над тонким остроумным анекдотом.

Одним словом, к концу вечера хмельная Вероника очнулась в одном номере с модным художником, посмотрела на часы, констатировала половину первого ночи и, сказав «будь, что будет!», упала в художные объятия работника кисти и палитры.

Художника звали Дионис. Представляете? Только так и не иначе могли звать человека, с которым Вероника не сможет быть одинока, которому может прочесть: «Тебе стихи мои, сравнятся ль их красе с очами милыми, с их чудной красотой...», а в ответ услышать: «Так это же Верлен!» Ну, разве сравнится мужлан Егор Ильич с этим изящным длинноволосым брюнетом, одно имя которого – Дионис – заставляет ее сердце биться, как колокол?

Утро разбудило их прозрачным солнечным лучом, проникшим сквозь шелковые шторы.

– «Она была полураздета, и со двора нескромный вяз в окно стучался без ответа...» – прошептал художник.

– Рембо! – улыбнулась Вероника. – А мой муж никогда бы это не сказал. Он вообще никогда ничего не говорит...

Напрасно Егор Ильич ждал супругу дома. Она не вернулась к нему.

Прошло две недели. Вероника пыталась осознать и понять новую жизнь.

За это время цитаты французских поэтов слегка иссякли. Она пыталась находить новые, но они перестали быть такими яркими, как тогда, в ночь после выставки.

Вдобавок ко всему художник продал две картины и тяжело запил. Он пил самозабвенно и упоительно. А напившись, истерично кричал, что он ничтожество, продающее искусство за звонкую монету, а потом засыпал голый на полу.

Вдобавок ко всему у Вероники кончились деньги.

– Эллочка, – говорила она подруге по телефону, – у меня крайне затруднительное положение, Дионис пьет! И вдобавок совершенно кончились деньги! Представляешь? Мне нужно немного денег...

– Я бы с удовольствием, но я улетаю в Ниццу с Аликом. Совершенно нет времени, солнышко, у меня еще ничего не собрано...

Вероника плакала. Вернуться к Егору Ильичу? Да он и слышать о ней не желает, скорее всего... Да и совесть не позволит.

Она сидела на скамейке в Нескучном под голубым зонтом. С неба уныло капали дождинки позднего лета, по лицу бежали светлые дождинки запоздалых слез. Жизнь казалась нелепой и глупой. Терзало осознание того, что таковой ее сделала сама Вероника.

Вдруг на скамью присел кто-то большой и грузный. Вероника вздрогнула и подняла глаза. Рядом сидел Егор Ильич в сером плаще и в шляпе в цвет. На Веронику он не посмотрел.

Помолчали. Вероника не знала, что и сказать.

– Пошли домой, – тихо, но четко произнес Егор Ильич, поднялся со скамьи и пошел по аллее по направлению к выходу.

Несколько секунд Вероника смотрела на его удаляющуюся спину, а потом встала и завороченно пошла за ним.

Придя домой, она неожиданно почувствовала, как соскучилась по этим стенам.

Ночью она проснулась, посмотрела на профиль мужа. Тот не спал и глядел в потолок.

– Почему ты забрал меня после всего... После этого...

– Потому что люблю, – ответил Егор Ильич, повернулся на бок и уснул.

Веронике не спалось. В голове вертелись строчки из Аполлинера, и от этого было невыносимо противно.

Прапорщик Чугунов

Прапорщик Чугунов был очень жестким человеком. К солдатам воинской части, где он служил старшиной, относился с неприязнью, любимчиков не выделял, ненавидя всех без селекции по национальности и росту. Конечно, слово «ненависть» тут не совсем верное. Просто вся эта одинаковая толпа людей в одинаковой форме вызывала у него зубной зуд.

Приехав утром на службу, подходя к казарме, он, еще не видя, что делается внутри, начал орать: «Что, холера вас возьми, за бардак?! Всех сгною к чертям собачьим!»

А потом действительно начинал гноить, очень жалея, что вынужден это делать только в рамках Устава. Хотя иногда позволял себе и немного выходить за эти самые рамки, раздавая затрещины и пинки тем, кто особенно, по его мнению, не соответствовал званию настоящего воина. Однажды он даже выбил зуб младшему сержанту, совершенно случайно, но отчего-то несколько не расстроился, а даже скорее наоборот.

В добродетели настоящего солдата он вносил умение заправлять кровать, мыть полы и унитазы, а также вовремя выполнять команду «отбой».

Вышестоящих командиров прапорщик Чугунов ненавидел еще больше, чем солдат. Каждый раз делал нечеловеческие усилия, поднимая руку для отдания чести, и очень жалел, что не может хотя бы разок зарядить в глаз какому-нибудь лейтенантишке, не говоря уже о высшем командном составе.

Личный состав отвечал Чугунову примерно такой же нелюбовью. Командир части подполковник Рагозин, сталкиваясь с прапорщиком Чугуновым, кривился так, будто съел лимон. Прапорщик чудесным образом находил свое имя в списке дежурных по части практически на все праздники.

От этого он не то чтобы расстраивался, но ненавидел окружающих сослуживцев еще более люто.

Иногда, устав от такого нервного напряжения, прапорщик Чугунов жестко напивался в каптерке и засыпал на топчане, как раз между мешком с портянками и пахнущими ваксой новыми кирзовыми сапогами.

Если его случайно будили, он устраивал марш-броски на десять километров в полном обмундировании. Впрочем, сам он в них не участвовал.

Солдаты же, надев вещмешки, сумки с противогазами и рожки с боевыми патронами, выбежав из части, курили под елками в лесу, выжидая время. А потом возвращались назад, делая вид, что очень устали от несостоявшегося марш-броска.

Прапорщик Чугунов хорошо знал, что его обманывают. И от этого не любил солдат пуще прежнего.

Однажды прапорщик подрался с другим прапорщиком, Максимкиным.

Никто не знает первопричины. То ли он спутал по пьяни Максимкина с солдатом и сослепу влепил ему оплеуху, то ли наоборот, Максимкин сказал что-то обидное, но драка состоялась и Чугунов вышел в ней бесспорным победителем. Правда, после этого отмотал пятнадцать суток на гауптвахте.

Когда заканчивалось дежурство, он, угрюмый и молчаливый, возвращался домой. Автобус шел до военного городка, а потом еще минут двадцать прапорщик Чугунов шел по грязным улицам и дымил дешевой сигаретой, чтобы успокоиться.

Открывая дверь, обитую коричневым дерматином, он слышал топанье маленьких ножек трехлетней дочки Леночки.

И тогда прапорщик Чугунов садился на табуретку и улыбался. Пожалуй, в первый и последний раз за все сутки.

Колдыб-нога

В соседнем дворе жил Гуля. Его как-то звали, наверняка, и фамилия тоже была. Но кому это интересно, если он был Гулей. Мальчиком с короткой ногой. У него даже башмак был специальный, который ногу увеличивал. Некрасивый такой черный башмак. Мальчик так и гулял, на одной ноге нормальный кед с красной резиновой подошвой, а на другой – черный уродливый башмак.

Бегать он не мог в силу известных причин. Только ходил, как утка, переваливаясь. Поэтому в футбольных сражениях участвовал как комментатор.

– Ну, куда бьешь?! Куда пасуешь?! Руки!! Пенальти!! – орал Гуля, сидя на скамейке, и очень переживал за наших.

Зато в «ножички» равных Гуле не было. Тут он был мастером. Всегда попадал с первого раза, и играть с ним было бесполезным занятием.

Конечно, Гулю дразнили «Колдыб-нога», «Одноногий», «Цапля»... Гуля не обижался, просто внимания не обращал.

– Гуля, тебе не обидно? – не понимал я. – Мне было бы обидно! Это же обидно, когда тебя увечьем попрекают!

– Не увечье. Я родился так, – улыбался Гуля. – Потому и обижаться чего? Вот я тебя назову двуногим, это разве обидно?

– Двуногий не обидно.

– Вот. Потому что ты родился так, вот и не обидно. А я родился с короткой ногой. Ну, и чего мне обижаться?

Логика, конечно, присутствовала. Но мне все равно было обидно за Гулю. Парень он был хороший, нравился мне, хоть и футболист из него никакой.

Лето было. Не то июнь, не то июль, неважно. Мы забрались на стройку. Вы разве не любили в детстве играть на стройке? Там было много интересного. Из сварочных электродов можно было сделать шпаги, карбид найти тоже можно было, а потом его взрывать. Да мало ли? Настоящим мальчишкам всегда найдется дело на стройке.

Мы сидели между третьим и недостроенным четвертым этажом дома, прямо на плите перед провалом, где еще не поставили стену, и болтали ногами. Я, Дюня, Андрюха Белый и Гуля. И тут неожиданно кто-то заорал:

– Эй, вы что тут делаете?!

Сторож. О нем тут ходили легенды. Огромный старик с косматой бородой и вечной ушанкой на голове, с которой он не расставался даже летом.

Мы мгновенно подскочили и дернули наутек. Попастись этому страшному старику никто не хотел. Говорили, что рука у него была тяжелая, практически каменная, и одним ударом он мог спокойно убить человека.

Мы бежали со всех ног, пока не выбежали через дыру в заборе на улицу. И тут до нас дошло, что Гуля остался на стройке!

Ну, конечно! Бегать-то он не мог. Внутри похолодело.

– Гуля... Гуля... – повторял Андрюха, который никак не мог отдышаться.

– Да знаю я! – ответил Дюня. – Что делать-то? Убьет он Гулю!

– Я пойду назад, – решительно сказал Андрюха.

– Я с тобой, – кивнул я.

– Дураки, что ли? Он и вас убьет, не только Одноногого, – побледнел Дюня.

– А ты оставайся, если сцышь!

– Я не сцу! Я просто помирать не хочу!

Мы с Андрюхой ничего не ответили и направились назад, к стройке.

На стройке было тихо.

– Не нравится мне эта тишина, – сказал я Андрюхе.

Тот пожал плечами.

Ступенька за ступенькой, стараясь не шуметь, мы крались наверх, туда, откуда недавно мы бежали сломя головы. Было страшно, чего уж греха таить. Так страшно, что сосало под ложечкой.

Но когда мы дошли до второго этажа, то неожиданно наткнулись на Гулю.

Тот шел, как ни в чем не бывало, прихрамывая своей короткой ногой в некрасивом черном башмаке.

– Гуля!!! – заорали мы оба. – Жив!

– Вы чего, дураки? – удивленно посмотрел на нас тот. – Жив, конечно! Что со мной случится-то?

– А этот... старик, ну, сторож который! Он же тебя одним ударом убить мог! У него рука, говорят, железная!

– Не железная, а деревянная. Протез у него. Он сказал, с войны. Он меня как увидел, ну... не меня, конечно, а ногу, наверное, передумал меня бить. А может, и не хотел вовсе. Просто руку протянул, я пожал. Ну, не руку, конечно, а протез. Запутали вы меня!

– И ничего не сказал?!

– Сказал. Сказал, чтоб мы на стройке не гуляли, что это опасно. Он нормальный вообще, старик этот. Мне его жалко.

– Чего это тебе его жалко? – непонимающе спросил я.

– Ну, как же... с одной рукой живет. Бедняга.

– Да ты сам одноногий! – выпалил Андрюха.

– Не одноногий я, у меня просто нога короткая. И я таким родился. Значит, я не бедняга. Просто такой появился на свет. Но появился же! И это классно. А он двурукий был, а потом на войне ему руку и того. Оторвало. Ну, как его не пожалеть?

– Понятно, – согласился я.

И мы пошли назад, во двор. Лето было. Не то июнь, не то июль. Неважно. Детство, как и лето, было в самом разгаре.

Лампочка

Когда мой жестяной патрон с вольфрамовыми волосками покрыли стеклянным куполом, я родилась. Но даже не успев оглянуться по сторонам, практически сразу же попала в картонную упаковку.

В упаковке было темно и скучно. Я чувствовала, что меня куда-то периодически перекладывали, переносили и перевозили.

Наконец, меня вынули...

Меня держал в руках морщинистый человек в коричневой кепке.

– Стоваттная, е-мое! Слышь, Петровна, ща я тебе стоваттную вкручу, а то в уборной ни хрена не видать... Колюха пьяный вечно на толчок мочится, и сидишь тут в потемках... ни тебе газетку почитать, ни чо друга...

– Крути, милай, крути! На туалете не экономять!

И меня вкрутили в запыленную стену туалета коммунальной квартиры номер девять.

И тут же включили выключатель...

О, это был восторг! Потоки направленного тока потекли по проводам, нежно коснулись капсюля и вошли в меня... Я блаженствовала, мои волоски напряглись и загорелись желтым пламенем! Начался неопиcуемый полет!

Но грубые руки щелкнули выключателем, и я потухла.

Однако ненадолго. Я потом научилась регулировать свой восторг, стала более умудренной, опытной, и даже научилась смотреть по сторонам во время моего пылания.

Два долгих года я освещала уборную... Кого и чего я там только не видала. Видала, как пьяный Колюха мочится на стульчак унитаза, электрический свет ему явно не помог. Как его же с большим энтузиазмом рвало после буйного перепоя. Видала, как Тамара Сергеевна втискивалась в узкую комнатку и, кряхтя, опускалась на унитаз, причем я постоянно боялась, что он непременно треснет.

Видала, как прыщавый девятиклассник Сережа мастурбировал по вечерам, разглядывая перефотографированные порнографические карты, которые купил у немого в электричке за три рубля. Видала, как Людочка потеряла невинность со своим студентом юридического Пашей... Видала, как сосредоточенно писал Володя, токарь АЗЛК, сжимая член с таким видом, словно в данный момент вытачивает сверхточную деталь для нового «москвича». Видала, как плакала жена Колюхи, Маша, прижимая к глазу лед из холодильника...

И вот однажды утром Володя щелкнул выключателем... и я не зажглась. Потоки тока напрасно бились о мой капсюль, вольфрам в моем стеклянном теле порвался и беспомощно болтался на усиках...

– Перегорела, сука! – раздраженно сказал Володя, выкрутил меня, отнес на кухню и бросил в мусорное ведро.

Я лежала между картофельной шелухой и завернутыми в газету костями от селедки. Мне было больно и обидно. Но я, в отличие от Маши, плакать просто не умела...

Петровна взяла в руки ведро и пошла выносить...

У подъезда она поставила ведро на землю и отправилась проверять почтовый ящик. Пробегающий мимо пацан выхватил меня из ведра...

Последнее, что я помню, это страшный удар об угол дома и фонтан разлетающегося стекла...

Часть 3

Перекресток с платанами

Осколок

– А у меня оранжевое! – сказал Первый Мальчик и, приложив осколок стекла к глазу, посмотрел на небо.

Небо с другой стороны стекла взглянуло на него темно-оранжевой глубиной и светло-апельсиновыми облаками, медленно плывущими над белобрысыми головами двух мальчишек, лежащих на желтом прибрежном песке.

В нескольких шагах от них так же лениво, как и облака, гнала свои воды узенькая речка.

– Подумаешь, а у меня зеленое, – ответил Второй Мальчик, и небо взглянуло на него салатным, а солнце оставалось просто солнцем, потому что на него смотреть было больно даже через стекло.

Подумать только, как давно я не чувствовал прикосновения рук. Были времена, когда ко мне прикасались. Но это было очень давно. Так давно, что вспоминаю я об этом все реже и реже, как о том, что уже никогда не вернуть назад. В воспоминаниях моих есть сожаление и разочарование, как бывает, наверное, у Людей, безвозвратно утративших самое главное. Не буду уточнять, что конкретно, ведь главное у каждого свое.

Ни к чему вам моя философия, да и кто я такой, чтобы рассуждать о том, что может быть у них главным?

В последнее время я чувствовал только прикосновения ног или автомобильных шин. На меня наступали подошвы обуви, кожаные и резиновые, полиуретановые и каучуковые, дорогие и дешевые. Это не больно, когда тебя топчут. Да сколько угодно, главное, чтобы не каблучком.

Особенно много боли мне приносили тонкие каблочки женских туфель. Острые и беспощадные. Изящные и элегантные. Впрочем, как любое зло. В любом зле есть своя элегантность.

Однажды такой каблук разломил меня напополам. Острая боль пробежала трещиной по моему телу. Когда я очнулся, увидел рядом своего клона. Но я с ним даже не успел пообщаться, потому что шина проехавшего автомобиля навсегда унесла его от меня вместе с дорожной пылью и гравием.

Любой осколок был когда-то частью целого. Людям свойственно создавать и разрушать. Причем последнее чаще. Когда-то и я был частью коньячной бутылки.

Эту бутылку вынул Стеклодув очень далеко отсюда. В стране, где Люди говорят не так, как здесь. Потом бутылку долго везли куда-то, потом хранили в деревянных ящиках, а еще позже в нее налили терпкий напиток цвета крепкого чая из дубовой бочки, наклеили красивую этикетку и опять долго везли.

Через некоторое время бутылку поставили на полку магазина. Еще через некоторое время ее продали Человеку в костюме.

Это были счастливые времена, когда я ощущал прикосновение Человеческих рук. Они были разными, эти руки.

Лучше всего я запомнил ладони Стеклодува и этого самого Человека, который купил бутылку. Того, который в костюме.

Ладони Стеклодува были немного огрубевшими, но в них чувствовалась сила. Физическая сила, которая, впрочем, не мешала очень бережно прикасаться к созданным им бутылкам и ласково поглаживать их по круглым бокам.

Руки Человека в костюме были значительно нежнее и мягче. Но и они были сильными. Но не физически, нет. Через них передавалась внутренняя сила. Мне кажется, что эта сила была мощнее, нежели та, физическая, которая присутствовала у Стеклодува.

Человек в костюме принес бутылку домой и поставил в шкаф, который он называл баром.

Внутри бара было много других бутылок. Были высокие с длинным горлышком, были маленькие и плоские, всякие там были бутылки. Некоторые из них были заткнуты пробками, некоторые распечатаны и наполовину опустошены.

Все бутылки стояли в темноте бара и ждали своего часа. Те из них, которые периодически доставали и возвращали назад, с уменьшившимся количеством жидкости внутри, очень гордились и, свысока поглядывая на остальных, рассказывали, какие замечательные люди только что брали их в руки и какие неопишуемые ощущения они при этом испытывали. А были и такие бутылки, которые уже никогда не возвращались назад. Остальные бутылки не знали, отчего они не вернулись, но им казалось, что с ними произошло нечто замечательное, и им завидовали.

Бутылку, частью которой я был, очень долго не вынимали из бара. Знаете, мне даже это нравилось. Зачем испытывать неизведанное, не зная, что тебя ждет впереди, когда можно спокойно стоять внутри темного и прохладного бара?

Проходили дни, недели и месяцы, появлялось много новых бутылок, а еще больше исчезало навсегда.

И вот однажды дверь шкафа открылась, и рука Человека в пиджаке взяла мою бутылку. Я почувствовал тепло его ладони и понял, что настал и наш час.

Человек в пиджаке поставил бутылку на стол. Рядом стояли два очень красивых коньячных стакана. Свет электрической лампы падал на их хрустальные бока. Это было великолепное зрелище.

Но открывать бутылку Человек в пиджаке не спешил. В комнате рядом с ним находился еще один Человек с очень короткой стрижкой. Он взял бутылку в руки, прочитал этикетку и поставил ее назад, на стол. От ладоней этого Человека с очень короткой стрижкой не исходило никакого тепла. Они были ледяные, эти ладони.

Человек в пиджаке что-то ему говорил. Говорил долго, сбиваясь, как будто в чем-то оправдываясь.

Человек с очень короткой стрижкой молчал, лицо его не выражало никаких эмоций, лишь уголки губ слегка кривились вниз.

Человек в пиджаке между тем продолжал говорить, сбиваясь на крик. Он нервно ходил по комнате, что-то доказывал, о чем-то просил.

Неожиданно он бросился на Человека с очень короткой стрижкой, пытаясь его ударить.

Но его соперник был явно сильнее и проворнее. Схватив бутылку, частью которой я был, он разбил ее о стену и несколько раз ударил ею Человека в пиджаке в живот.

Я почувствовал, как по мне потекла соленая красная жидкость, которую Люди называют кровью.

Я не видел, что было дальше, потому что, отделившись от единого целого и превратившись в осколок, я закатился под кожаный диван, в пыль.

Там я провел несколько дней рядом с какой-то поломанной зажигалкой и визиткой адвоката.

Потом кто-то толстый вынул меня оттуда щеткой на длинной деревянной ручке и выбросил в мусорное ведро.

Мусор этот кто-то очень толстый высыпал в большой зеленый бак.

В баке я пробыл недолго. Когда вонючая мусорная машина по дороге на свалку подпрыгнула на очередном ухабе, я вывалился из бака в серый придорожный песок.

Соленый вкус крови я испытал еще один раз.

Это случилось в начале прошлого лета. Босоногая девчонка наступила на меня пяткой.

А потом меня подобрал белобрысый мальчик, который в данный момент смотрит через мое мутно-зеленоватое тело на солнце.

– Черт! – вскрикнул Второй Мальчик. На указательном пальце его правой руки выступила алая капелька крови. – Порезался...

Размахнувшись, он метнул осколок стекла в речку.

Осколок, булькнув, пропал в темноте ленивых вод, а по поверхности речной глади пробежали ровные кольца...

Гипсовый пионер

О соснах я знаю все. Было бы странным этого не знать мне, проведенному между них всю свою сознательную жизнь. Сосны умеют двигаться только вверх. Начиная свою жизнь из маленького семечка, вывалившегося из шишки, они неустанно растут вверх, к небу, пока не становятся высокими могучими деревьями с головокружительным ароматом хвои. Сосны умеют плакать. Янтарные вязкие слезы, которые вы называете смолой, выступают на их коре от удара или надпила. Сосны плачут. Как сосны смеются, я не знаю. Ни разу не видел, хотя знаю о соснах все. Наверное, они не умеют смеяться.

О соснах я рассказываю вам не случайно. Просто о них рассказывать интереснее. Я намного примитивнее их. Я не умею двигаться даже вверх. Я не умею плакать. Смеяться тем более не умею. Я сделан из железной арматуры и гипса. Я пионер. Я гипсовый пионер.

Вот уже много лет я стою на кирпичном, выкрашенном известкой постаменте. Он давно просел, а из одного его края выбиты несколько кирпичей.

Когда-то недалеко от меня стояли еще несколько гипсовых фигур. Женщина с веслом и футболист.

Женщина мне нравилась. Мне нравились ее голые ноги, мощные, как и полагается спортсменке, мне нравился ее бюст. Я давно не ребенок, хоть и выгляжу, как пятиклассник, поэтому повторю, мне нравился ее бюст. Мне нравилось ее лицо, всегда спокойное и уверенное в победе. Мне нравились ее руки, сильные, но в то же время женственные, с тонкими запястьями. Даже ее весло мне нравилось, хотя ничего особенного в нем не было. Весло как весло.

Футболиста я не любил. Он меня тоже. Мы никогда не общались с ним, да и как мы могли общаться, собственно, два гипсовых истукана? Но я знал, что футболист не любит меня. В его замахе ноги, в поднятой вверх руке я чувствовал неизбежную угрозу. Даже сосредоточенное выражение лица футболиста, нахмуренный лоб, плотно сжатые губы выражали некую угрозу, от которой, умей я потеть, меня бы тут же бросило в пот.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.